



Вашингтон Ирвинг

Сонная Лощина

(сборник)

Перевод с английского
Анании Бобовича

ФТМ



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Вашингтон Ирвинг

Сонная Лощина

«ФТМ»

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Ирвинг В.

Сонная Лощина / В. Ирвинг — «ФТМ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-112190-7

Новеллы Вашингтона Ирвинга завораживают, пугают, а главное — читаются на одном дыхании. Герои этих мистических историй встречают призраков и духов, ищут зачарованные клады, бродят по сумрачным лесам, таинственно исчезают и заключают сделку с самим дьяволом. Их жизнь — настоящий ночной кошмар. Но где заканчивается сон и начинается явь?

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-112190-7

© Ирвинг В.

© ФТМ

Содержание

Из «Книги эскизов»	5
Рип Ван Винкль	5
Жених-призрак	15
Легенда о Сонной Лощине	24
Из книги «Брейсбридж-Холл»	43
Дом с привидениями	43
Дольф Хейлигер	46
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Вашингтон Ирвинг Сонная Лощина

Из «Книги эскизов»

Рип Ван Винкль

Посмертный труд Дидриха Никербокера

Клянусь Вотаном, богом саксов,
Творцом среды (среда – Вотанов день),
Что правда – вещь, которую храню
До рокового дня, когда свалюсь
В могилу...¹

Картрайт

Всякий, кому приходилось подниматься вверх по Гудзону, помнит, конечно, Каатскильские горы. Эти дальние отроги великой семьи Аппалачей, взнесенные на внушительную высоту и господствующие над окружающей местностью, виднеются к западу от реки. Всякое время года, всякая перемена погоды, больше того – всякий час на протяжении дня вносят изменения в волшебную окраску и очертания этих гор, так что хозяйшки – что ближние, то и дальние – смотрят на них как на безупречный барометр. Когда погода тиха и устойчива, они, одетые в пурпур и бирюзу, вычерчивают свои смелые контуры на прозрачном вечернем небе, но порою (хотя вокруг, куда ни глянь, все безоблачно) у их вершин собирается сизая шапка тумана, и в последних лучах заходящего солнца она горит и сияет, как венец славы.

У подножия этих сказочных гор путнику, вероятно, случалось видеть легкий дымок, вьющийся над селением, гонтовые крыши которого просвечивают между деревьями как раз там, где голубые тона предгорья переходят в яркую зелень расстилающейся перед ним местности. Это старинная деревушка, построенная голландскими переселенцами еще в самую раннюю пору колонизации, в начале правления доброго Питера Стюйвезента (да будет мир праху его!), и еще совсем недавно тут стояло несколько домиков, сложенных первыми колонистами из мелкого, вывезенного из Голландии желтого кирпича, с решетчатыми оконцами и флюгерами в виде петушков на гребнях островерхих крыш.

Вот в этой-то деревушке и в одном из таких домов (который, сказать по правде, порядком пострадал от времени и непогоды), в давние времена, тогда, когда этот край был еще британской провинцией, жил простой, добродушный малый по имени Рип ван Винкль. Он принадлежал к числу потомков тех самых ван Винклей, которые с великою славою подвизались в рыцарственные дни Питера Стюйвезента и находились с ним при осаде форта Христина. Воинственного характера своих предков он, впрочем, не унаследовал. Я заметил уже, что это был простой, добродушный малый; больше того, он был хороший сосед и покорный, забитый супруг. Последнему обстоятельству он и был обязан, по-видимому, той кроткостью духа, кото-

¹ Все встречающиеся в тексте стихи переведены Т. М. Казничевой.

рая снискала ему всеобщую любовь и широкую популярность, ибо наиболее услужливыми и покладистыми вне своего дома оказываются мужчины, привыкшие повиноваться сварливым и вечно бранящимся женам. Их нрав, пройдя через огненное горнило домашних невзгод, становится, вне всякого сомнения, гибким и податливым, ибо супружеские нахлобучки лучше всех проповедей на свете научают человека добродетели терпения и послушания. Вот почему сварливую жену в некоторых отношениях можно считать благословением неба, а раз так, Рип ван Винкль был благословен трижды.

Как бы там ни было, но он, бесспорно, пользовался горячей симпатией всех деревенских хозяюшек, которые, согласно обыкновению прекрасного пола, во всех семейных неурядицах Рипа неизменно становились на его сторону и, когда тараторили друг с другом по вечерам, не упускали случая взвалить всю вину на тетушку ван Винкль. Даже деревенские ребятишки встречали его появление шумным и радостным гомоном. Он принимал участие в их забавах, мастерил им игрушки, учил запускать змея и катать шарики² и рассказывал нескончаемые истории про духов, ведьм и индейцев. Когда бы ни проходил он по деревне, его постоянно окружала ватага ребят, цеплявшихся за полы его одежды, забиравшихся к нему на спину и безнаказанно учинявших тысячи шалостей; кстати, не было ни одной собаки в окрестностях, которой пришло бы в голову на него залаять.

Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, – ведь сидел же он сиднем, бывало, на мокром камне с удочкой, длинной и тяжелой, как татарская пика, и безропотно удил целыми днями даже в тех случаях, когда ни разу не клюнет; бродил же он часами с ружьем на плече по лесам и болотам, по горам и по долам, чтобы подстрелить нескольких белок или лесных голубей. Никогда не отказывался он пособить соседу даже в самой трудной работе и был первым, если в деревне принимались сообща лущить кукурузу или возводить каменные заборы; жительницы деревни привыкли обращаться к нему с различными поручениями или просьбами сделать для них какую-нибудь мелкую докучливую работу, взяться за которую не соглашались их менее покладистые мужья. Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за свои собственные; исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось ему немыслимым и невозможным.

Он заявлял, что обрабатывать его землю не стоит: это, мол, самый скверный участок в целом краю, все растет на нем из рук вон плохо и всегда будет расти отвратительно, несмотря на все труды и усилия. Изгороди у него то и дело разваливались; корова неизменно умудрялась заблудиться или попадала в чужую капусту; сорняки на его поле росли, конечно, быстрее, чем у кого бы то ни было; всякий раз, когда он собирался работать вне дома, начинал, как нарочно, лить дождь, и, хотя доставшаяся ему по наследству земля, сокращаясь акр за акром, превратилась в конце концов, благодаря его хозяйничанию, в узкую полоску картофеля и кукурузы, полоска эта была наихудшей в этих местах.

Дети его ходили такими оборванными и одичалыми, словно росли без родителей. Его сын Рип походил на отца, и по всему было видно, что вместе со старым платьем он унаследует и отцовский характер. Обычно он трусил мелкой рысцой, как жеребенок, по пятам матери, облаченный в старые отцовские, проношенные до дыр штаны, которые с великим трудом придерживал одною рукой, подобно тому как нарядные дамы в дурную погоду подбирают шлейф своего платья.

Рип ван Винкль тем не менее принадлежал к разряду тех вечно счастливых смертных, обладателей легкомысленного и беспечного нрава, которые живут не задумываясь, едят белый хлеб или черный, смотря по тому, какой легче добыть без труда и забот, и скорее готовы сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в довольстве. Если бы Рип был предоставлен себе

² Речь идет о детской игре, наподобие нашей игры в бабки.

самому, он посвистывал бы в полное свое удовольствие на протяжении всей своей жизни, но, увы!., супруга его жужжала ему без устали в уши, твердя об его лени, беспечности и о разорении, до которого он довел собственную семью. Утром, днем и ночью ее язык трещал без умолку и передышки: все, что бы ни сказал и что бы ни сделал ее супруг, вызывало поток домашнего красноречия. У Рипа был единственный способ отвечать на все проповеди подобного рода, и благодаря частому повторению это превратилось в привычку: он пожимал плечами, покачивал головой, возводил к небу глаза и упорно молчал. Впрочем, это влекло за собой новые залпы со стороны его неугомонной супруги, и в конце концов ему приходилось отступать с поля сражения и скрываться за пределами дома – ведь только эти пределы и остаются несчастному мужу, живущему под башмаком у жены.

Среди домашних единственным другом Рипа был пес по имени Волк – существо не менее подбашмачное, чем его бедняга-хозяин, – ибо госпожа ван Винкль, считая, что они товарищи по безделью, злобно косилась на Волка, видя в нем причину частых отлучек ее супруга. Волк же, в сущности говоря, обладал всеми чертами характера, которые полагается иметь честному псу: он не уступил бы в отваге ни одному зверю, рыскавшему в лесах, но какая отвага устоит перед нападками злого женского языка! Стоило Волку переступить порог дома – и облик его сразу преображался: понурый, с опущенным в землю или зажатым между ног хвостом, крался он с видом преступника, то и дело бросая косые взгляды на хозяйку ван Винкль и при малейшем взмахе метлы или уполовника с воем и визгом кидаюсь за дверь.

С годами семейная жизнь Рипа становилась все тягостнее. Дурной характер никогда не смягчается с возрастом, а острый язык – единственный их всех режущих инструментов, который не только не притупляется от постоянного употребления, но, наоборот, делается все острее и острее. Будучи принужден частенько покидать домашний очаг, Рип мало-помалу привык находить отраду в посещении, так сказать, постоянного клуба мудрецов, философов и прочих деревенских бездельников. Клуб этот заседал на скамье у небольшого трактира, вывеской которому служил намалеванный красной краской портрет его королевского величества Георга III. Здесь просиживали они в холодке нескончаемый летний день, бесстрастно передавая друг другу деревенские сплетни или сонно пережевывая бесчисленные «истории ни о чем». Впрочем, иным государственным деятелям стоило бы выложить хорошие денюжки, чтобы послушать глубокомысленные дискуссии, возникавшие порой между ними, когда какой-нибудь случайный проезжий снабжал их старой газетой. С какою торжественностью внимали они тогда неторопливому чтению Деррика ван Буммеля, школьного учителя, маленького и опрятного ученого человечка, который, не запнувшись, мог произнести самое гигантское слово во всем словаре! С какою мудростью толковали они о событиях многомесячной давности!

Общественным мнением в этом высоком собрании управлял Николас Веддер, патриарх деревни и владелец трактира, у порога которого он восседал с утра до ночи, передвигаясь ровно настолько, сколько требовалось, чтобы укрыться от солнца и остаться в тени могучего дерева, так что соседи, наблюдая его движения, могли определять время с такою же точностью, как если бы перед ними были солнечные часы. Правда, голос его можно было услышать не часто, зато трубкой своей он дымил беспрерывно. И все же его приверженцы (а у великих людей всегда бывают приверженцы) отлично понимали его и умели угадывать его мнения. Было замечено, что если чтение или рассказ вызывали в нем неудовольствие, он начинал яростно похихивать трубкой, выпуская изо рта частые, короткие и сердитые клубы дыма; если же, напротив, они ему нравились, он медлительно и спокойно затягивался и выпускал дым легкими, мирными облачками; время от времени, вынув изо рта трубку, он степенно кивал головой в знак полного одобрения, и тогда около его носа завивался ароматный дымок.

Но даже из этой твердыни бедный Рип был выбит в конце концов своею сварливой женой, которая не раз нарушала спокойствие и безмятежность достопочтенного сборища, ставя членов его ни во что и допекая их своими насмешками. Даже священную особу Николаса Веддера не

поощаил дерзкий язык этой бешеной фурии, обвинявшей его во всеуслышанье в том, что он потворствует праздным наклонностям ее легкомысленного супруга.

Бедняга Рип был доведен таким образом почти до отчаяния; единственное, что ему оставалось, чтобы избавиться от работы на ферме и брани жены, – это взять в руки ружье и отправиться бродить по лесам. Здесь присаживался он иногда к подножию дерева и делился содержимым своей охотничьей сумки с Волком, к которому испытывал сострадание, как к товарищу по несчастью. «Бедный Волк, – говаривал он в таких случаях, – твоя хозяйка устраивает тебе чертовски собачью жизнь? Ничего, приятель, пока я жив, есть кому за тебя постоять!» Волк помахивал хвостом, грустно смотрел на хозяина, и, если только собаки способны сочувствовать людям, я охотно поверю, что он от всего сердца отвечал Рипу взаимностью.

Как-то в погожий осенний день, совершая вылазку подобного рода, Рип неприметно для себя самого забрался высоко в горы. Он предавался излюбленной им охоте на белок, и безлюдные горы отвечали многократным эхом на его выстрелы. Уже к вечеру, тяжело дыша от усталости, опустился он на зеленый, поросший горной травой бугор у самого края пропасти. Оттуда, сквозь просветы между деревьями, он видел обширную, тянувшуюся на многие мили равнину, покрытую густым лесом. Где-то внизу – там, далеко, далеко, – величаво и безмолвно катил свои воды могучий Гудзон (лишь изредка на его зеркальном лоне можно было заметить отражение багряного облачка или паруса медлительной, как бы застывшей на месте барки), но и сам Гудзон терялся, наконец, в синеве дальних предгорий.

С противоположной стороны перед ним открывалась глубокая, зажатая горами лощина – дикая, пустынная, взъерошенная, – дно которой, заваленное обломками нависших сверху утесов, было едва освещено отсветами лучей заходящего солнца. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину; наступал вечер; горы отбрасывали длинные синие тени, закрывая ими долины. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни, и, тяжело вздохнув, представил себе грозную встречу, уготованную ему госпожою ван Винкль.

Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» Рип взглянул во все стороны, но кругом никого не было, кроме вороны, направлявшей свой одинокий полет через горы. Он решил, что воображение обмануло его, и снова приготовился к спуску, как вдруг услышал тот же голос, отчетливо прозвучавший в тихом вечернем воздухе: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» В то же мгновение Волк ошетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер, испуганно смотря вниз. Теперь и Рип проникся какой-то смутной тревогой; он устремил беспокойный взгляд в направлении, подсказанном ему Волком, и различил наконец причудливую фигуру какого-то человека, с усилием взбиравшегося на скалы и сгибавшегося под тяжестью ноши, которую он тащил на спине. Он удивился, встретив человеческое существо в такой пустынной и обычно никем не посещаемой местности, но, решив, что это кто-нибудь из окрестных жителей, нуждающийся в его помощи, поспешил на зов и начал спускаться.

Приблизившись, он еще больше поразился странной наружности незнакомца. Перед ним стоял маленький коренастый старик с густой гривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде: в суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку рядами пуговиц, а у колен бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно, наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Хотя Рип несколько оробел и не чувствовал особого доверия к незнакомцу, все же он со всегдашней готовностью откликнулся на его просьбу, и вот, помогая друг другу, они стали карабкаться вверх по промоине, представлявший собой, надо полагать, высухшее русло ручья. Во время подъема Рип не раз слышал глухие удары, напоминавшие раскаты далекого грома. Они доносились, казалось, из глубокого, вытянутого в длину оврага, или, вернее, ущелья между высокими скалами; к нему-то и вела та неровная, усыпанная щебнем тропа, которой они шли. Рип на мгновение остановился и,

рассудив, что это, должно быть, отдаленный гул быстротечного грозового ливня, какой часто бывает в горах, тронулся дальше. Пройдя ущелье, они вышли в лощину, похожую на маленький амфитеатр. Ее со всех сторон окружали отвесные скалы, с краев которых свешивались ветви деревьев, так что снизу можно было увидеть лишь клочки лазурного неба или порою яркое вечернее облачко. За все это время ни Рип, ни его спутник не проронили ни слова, и хотя первый ломал себе голову, зачем же тащить бочонок с водкой в дикие, пустынные горы, он так и не решился обратиться за разъяснением к старику, ибо в нем было что-то необыкновенное и непостижимое, внушавшее страх и исключавшее возможность сближения.

Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье: одни – в кургузых куртках, другие в камзолах, с длинными ножами у пояса, и почти все в таких же необъятных штанах, какие были на проводнике Рипа. Но и помимо платья все в их наружности было необычайно: у одного – длинная-предлинная борода, широкое лицо и маленькие свиные глазки; лицо другого (на нем был белый колпак, похожий на сахарную голову и украшенный красным петушиным перышком) состояло, казалось, из одного носа. У всех были бороды различной формы и различного цвета. Один из них был, по-видимому, начальником; на этом дюже пожилом джентльмене с обветренным красным лицом был кафтан с галунами, широкий пояс и кортик, а также шляпа с высокой тульей и перьями, красные чулки и башмаки на высоченнейших каблуках, украшенные спереди пряжками. Вся группа в целом напомнила Рипу картину фламандского живописца в гостиную ван Шейка, деревенского пастора, привезенную из Голландии еще в те времена, когда здесь было основано первое поселение.

Но вот что больше всего поразило Рипа: хотя эти ребята, судя по всему, развлекались от всего сердца, они удерживали на своих лицах суровое выражение и хранили таинственное молчание; никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при такой унылой забаве. Кроме стука шаров, который будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатам, ничто не нарушало безмолвия этой сцены.

Когда Рип со своим спутником подошли ближе, эти люди разом прервали игру, и каждый из них уставился на него упорным, как у изваяния, взглядом; их лица были такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа екнуло сердце и задрожали поджилки. Между тем его спутник стал разливать содержимое бочонка по большим кубкам и знаком показал Рипу, что их следует поднести играющим. Рип повиновался со страхом и дрожью; в глубоком молчании проглотили они напиток и снова возвратились к игре.

Мало-помалу Рип освоился с окружающим. Его страх и тревога прошли. Он осмелился даже – разумеется, лишь тогда, когда никто не глядел в его сторону – отведать напитка и нашел, что по вкусу и запаху это – отменная голландская водка. И так как по натуре своей он был вечно жаждущей душой, его вскоре стало томить искушение, не хлебнуть ли еще разочек. Но поскольку один глоток влечет за собою другие, он прихлебывал себе да прихлебывал, так что сознание его в конце концов затуманилось, голова стала тяжелой и опустилась на грудь, и он погрузился в глубокий сон.

Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза – было яркое, ясное утро. В кустах порхали и чирикали птички; в небе широкими кругами парил орел, подставляя грудь чистому горному ветру. «Неужели, – подумал Рип, – я провел тут ночь напролет?» Он припомнил все происшедшее с ним перед тем, как он задремал. Странный человек с бочонком голландской водки... котловина в горах... дикий уголок среди скал... унылая партия в кегли... кубок... «Ох, этот кубок, – подумал Рип, – этот проклятый кубок! Как же мне оправдаться перед госпожою ван Винкль?» Он осмотрелся, разыскивая свое ружье, но вместо нового, отлично смазанного дробовика нашел рядом с собою старый кремневый мушкет; ствол был изъеден ржавчиною, замок

отвалился, ложе источено червями. Он заподозрил, что давешние суровые и немые гуляки, которых он встретил в горах, сыграли с ним шутку и, напоив водкой, стянули ружье. Волк тоже исчез; впрочем, он мог заблудиться, погнавшись за куропаткою или белкой.

Рип свистнул и кликнул его по имени – все было напрасно. На его свист и крики многократно ответило эхо, собаки же нигде не было.

Он решил еще раз наведаться в те места, где вчера шла игра в кегли; если встретится кто-нибудь из игроков, он потребует с него ружье и собаку. Поднявшись на ноги, чтобы выполнить это намерение, он почувствовал ломоту в суставах и заметил, что ему недостает былой легкости и подвижности.

«Уж эти постели в горах, они, видно, не для меня, – подумал Рип, – и если после такой прогулочки я схвачу ко всему еще ревматизм, попадет же мне от хозяйки ван Винкль!» С трудом спустившись в овраг, он отыскал промоину, по которой вчера вечером поднимался со своим спутником в гору. К его изумлению, по ней катился теперь, перескакивая со скалы на скалу и оглашая овраг ревом и рокотом, бурный горный поток. Рип тем не менее стал карабкаться вверх вдоль его берега, и ему пришлось пробираться сквозь заросли лавра, березняк и лощинник, путаясь и по временам увязая среди густых лоз дикого винограда, который, цепляясь за деревья своими усиками и завитками, соткал на его пути своеобразную сеть.

Наконец добрался он до того места в ущелье, где между утесами должен был открыться проход в амфитеатр, но не обнаружил и следа какого-либо прохода. Скалы вздымались отвесной непреодолимой стеной; сверху легкою полосой перистой пены низвергался поток, стекавший в просторный водоем, глубокий и черный, укутанный тенью растущего вокруг леса. Здесь бедный Рип волей-неволей остановился. Он еще раз свистнул и позвал своего пса, но в ответ донеслось лишь карканье праздных ворон, кружившихся высоко в воздухе над сухим деревом, свисавшим в озаренную солнцем пропасть; вороны, чувствуя себя в безопасности, – еще бы, на такой высоте! – поглядывали насмешливо вниз и потешались, казалось, над замешательством бедного Рипа. Что ж теперь делать? Утро проходило, он испытывал голод; он ведь не завтракал! Его огорчила потеря ружья и собаки, он страшился встречи с женой, но не помирать же ему было с голода в этих горах! Покачав головою, он взвалил на плечо ржавый мушкет и с сердцем, исполненным забот и тревоги, направился восвояси.

Подходя к деревне, Рип повстречал нескольких человек, но среди них никого, кто был бы ему знаком; это несколько удивило его, ибо он думал, что у себя в округе знает всякого встречного и поперечного. Одежда их к тому же была совсем другого покроя, чем тот, к которому он привык. Все они глазели на него с одинаковым удивлением и всякий раз, взглянув на него, неизменно хватались за подбородок. Видя постоянное повторение этого жеста, Рип невольно последовал их примеру и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода длиной в добрый фут!

Он вошел, наконец, в деревню. Ватага незнакомых ребят следовала за ним по пятам; они гикали и указывали пальцами на его белую бороду. Собаки – но и среди них не было ни одной старой знакомой – бросались на него, надрываясь от лая. Да и деревня тоже переменялась – она разрослась и сделалась многолюдней. Перед ним тянулись ряды домов, которых он прежде не видел, а между тем хорошо известные ему домики исчезли бесследно. Чужие имена на дверях, чужие лица в окнах – все стало чужое. Было от чего потерять голову; Рип начал подумывать, уж не попали ли под власти колдовских чар он сам и весь окружающий мир. Конечно – и в этом не могло быть сомнений – пред ним была родная деревня, которую он покинул только вчера. Там высятся Каатскильские горы, вдалеке серебрится быстрый Гудзон, а вот те же холмы и долины, которые были тут испокон веков. Рип не на шутку смешался. «Вчерашний кубок, – подумал он, – задурил мне, видимо, голову».

Не без труда нашел он дорогу к своему дому, к которому, кстати сказать, стал подходить с немим страхом, ожидая, что вот-вот раздастся пронзительный голос госпожи ван Винкль. Дом

оказался в полном упадке: крыша обвалилась, окна разбиты, двери сорваны с петель. Вокруг дома бродила тощая, полуголодная, похожая на Волка собака. Рип кликнул ее, но она с ворчанием оскалила зубы и удалилась. Это было уж вовсе обидно. «Моя собственная собака, – вздохнул бедный Рип, – и та забыла меня».

Он вошел в дом, который госпожа ван Винкль, надо отдать справедливость, всегда содержала в чистоте и порядке. Дом был пуст, заброшен и явно покинут. Такое запустение заставило его забыть всякий страх пред супругой, и он стал громко звать ее и детей; пустые комнаты на мгновение огласились звуками его голоса; затем снова воцарилась мертвая тишина.

Рип торопливо вышел из дому и зашагал к своему старому приюту и утешению – деревенскому кабачку; но и кабачок бесследно исчез! На его месте стояла большая покосившаяся деревянная постройка, зияющая широкими окнами; некоторые из них были разбиты и заткнуты старыми шляпами или юбками; над входом в здание красовалась вывеска:

ГОСТИНИЦА «СОЮЗ»
ДЖОНАТАНА ДУЛИТЛЯ

Вместо могучего дерева, под сенью которого безмятежно ютился когда-то скромный голландский кабачок, торчал простой голый шест с чем-то вроде красного ночного колпака на самой верхушке. На шесте развевался также флаг с изображением каких-то звезд и полос. Все это было чрезвычайно странно и непонятно. Он разглядел, впрочем, на вывеске, под которой не раз мирно курил свою трубку, румяное лицо короля Георга III, но и тот тоже изменился самым поразительным образом. Красный мундир стал канареечно-голубым; вместо скипетра в руке оказалась шпага; голову венчала треугольная шляпа, и внизу крупными буквами было выведено: «Генерал Вашингтон».

Как всегда, у дверей толклось много народу, но среди них не было никого, кого бы Рип помнил. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Вместо былой невозмутимости и сонного спокойствия во всем проступали деловитость, напористость, суетливость. Рип тщетно искал глазами, где же мудрый Николас Веддер с его широким лицом, двойным подбородком и славною длинною трубкой, взамен праздных речей наделявший своих собеседников густыми клубами табачного дыма, или школьный учитель ван Буммель, пережевывавший содержание старой газеты. Вместо них тощий, желчного вида субъект, карманы которого были битком набиты какими-то объявлениями, шумно разглагольствовал о гражданских правах, о выборах, о членах Конгресса, о свободе, о Бэнкерс-Хилле³, о героях 1776 года и о многом другом, так что речь его показалась ошеломленному Рипу каким-то вавилонским смешением языков. Появление Рипа, его длинная белая борода, ржавый кремневый мушкет, странное платье и целая армия женщин и ребятишек, следовавших за ним по пятам, немедленно привлекли внимание трактирных политиканов. Они обступили его и с великим любопытством стали разглядывать с головы до ног и с ног до головы. Оратор в мгновение ока очутился возле Рипа и, отведя его в сторону, спросил, за кого он будет голосовать. Рип недоуменно уставился на него. Не успел он опомниться, как какой-то низкорослый и юркий маленький человечек дернул его за рукав, поднялся на носки и зашептал ему на ухо: «Кто же вы, федералист, демократ?» Рип и на этот раз не понял ни слова. Вслед за тем почтенный и важный пожилой джентльмен в треуголке с острыми концами пробился к нему сквозь толпу, расталкивая всех и слева и справа локтями, и, остановившись пред Рипом ван Винклем, подбоченился, оперся другою рукой на трость и, проникая как бы в самую душу его своим пристальным взглядом и острием своей треуголки, строго спросил, на каком основании он явился на выборы вооруженным и чего ради привел с собою толпу: уж не намерен ли он поднять в деревне мятеж?

³ Бэнкерс-Хилл – возвышенность близ Бостона, на которой 17 июня 1775 года произошло сражение между жителями американских колоний и английскими войсками. В борьбе за независимость победу одержали повстанцы.

– Помилуйте, джентльмены! – воскликнул Рип, окончательно сбитый с толку. – Я человек бедный и мирный, уроженец здешних мест и верный подданный своего короля, да благословит его бог!

Тут поднялся отчаянный шум:

– Тори! Тори! Шпион! Эмигрант! Держи его! Долой!

Важный человек в треуголке с превеликим трудом восстановил, наконец, порядок и, придав себе еще больше важности и суровости, еще раз допросил неведомого преступника: зачем он явился сюда и кого он разыскивает? Бедняга Рип стал смиренно доказывать, что ничего худого он не замыслил и явился сюда лишь затем, чтобы повидать кого-нибудь из соседей, обычно собирающихся возле трактира.

– Отлично, но кто же они? Назовите их имена!

Рип задумался на минутку, потом сказал: «Николас Веддер».

Воцарилось молчание; его нарушил какой-то старик, который тонким, визгливым голосом пропищал:

– Николас Веддер? Вот уже восемнадцать лет, как он скончался и отошел в лучший мир. Над его могилой, что на церковном дворе, стоял деревянный крест, который мог бы о нем рассказать, но крест истлел, и теперь от него тоже ничего не осталось.

– Ну а где же Бром Детчер?

– Ах, этот! Еще в начале войны он отправился в армию; одни утверждают, что он убит при взятии приступом Стони Пойнт, другие – будто он утонул во время бури у Антонова Носа. Не знаю, кто из них прав. Он так и не вернулся назад.

– А где ван Буммель, учитель?

– Он тоже ушел на войну, стал важным генералом и теперь заседает в Конгрессе.

Услышав о переменах, происшедших в родной деревне, и о жестокой судьбе, отнявшей у него старых друзей, и рассудив, что он остался теперь один-одинешенек на всем белом свете, Рип почувствовал, как сердце его сжимается и замирает. К тому же каждый ответ порождал в нем глубокое недоумение, ибо дело шло о больших отрезках времени и о событиях, которые не укладывались в его сознании: война, Конгресс, Стони Пойнт. Он не решился спрашивать о прочих друзьях и вскричал в полном отчаянии:

– Неужели никто не знает тут Рипа ван Винкля?

– Ах, Рип ван Винкль! – раздались голоса в толпе. – Ну еще бы! Вот он, Рип ван Винкль, вот он стоит, прислонившись к дереву.

Рип взглянул в указанном направлении и увидел своего двойника, совершенно такого, каким был он, отправляясь в горы. Это был, по-видимому, такой же ленивец и, во всяком случае, такой же оборвыш! Бедняга Рип окончательно растерялся. Он усомнился в себе самом: кто же он – Рип ван Винкль или кто-то другой? И пока он стоял в замешательстве, человек в треуголке обратился к нему с вопросом:

– Кто вы и как вас зовут?

– Ты, Господи, веши!⁴ – воскликнул Рип, теряя рассудок. – Ведь я вовсе не я... я – кто-то другой... Вот я стою там... нет... это кто-то другой в моей шкуре... Вчера вечером я был настоящий, но я провел эту ночь среди гор, и мне подменили ружье, все переменялось, я переменялся, и я не могу сказать, как меня зовут и кто я такой.

Тут присутствующие начали переглядываться, перемигиваться, покачивать головой и многозначительно постукивать себя по лбу. В толпе зашептались о том, что неплохо отнять у старого деда ружье, а не то, пожалуй, он натворит каких-нибудь бед. При одном упоминании о подобной возможности почтенный и важный человек в треуголке поспешно ретировался. В эту решительную минуту молодая миловидная женщина, протолкавшись вперед, подошла

⁴ Т.е. знаешь.

взглянуть на седобородого старца. На руках у нее был толстощекий малыш, который при виде Рипа заорал благим матом.

– Молчи, Рип, – вскричала она. – Молчи, дурачок: дедушка тебе худого не сделает.

Имя ребенка, внешность матери, ее голос – все это пробудило в Рипе вереницу далеких воспоминаний.

– Как тебя зовут, милая? – спросил он.

– Джудит Гарденир.

– А как звали твоего отца?

– Его, беднягу, звали Рипом ван Винклем, но вот уже двадцать лет, как он ушел из дому с ружьем на плече, и с той поры о нем ни слуху ни духу. Собака одна вернулась домой, но что случилось с отцом, застрелил ли он сам себя или его захватили индейцы, – никто на это вам не ответит. Я была тогда совсем маленькой девочкой.

Рипу не терпелось выяснить еще одно обстоятельство, и с дрожью в голосе он задал последний вопрос:

– Ну а где твоя мать?

– Она тоже скончалась; это случилось недавно. У нее лопнула жила – она повздорила с корабейником, что прибыл из Новой Англии.

По крайней мере хоть это известие заключало в себе кое-что утешительное. Бедняга не мог дольше сдерживаться. В одно мгновение и дочь, и ребенок оказались в его объятиях.

– Я – твой отец! – вскричал он взволнованно. – Я – Рип ван Винкль, когда-то молодой, а теперь старик Рип ван Винкль! Неужели никто на свете не признает беднягу Рипа ван Винкля?

Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла, наконец, из толпы, прикрыла ладонью глаза и, взглядевшись в его лицо, воскликнула:

– Ну конечно! Это же – Рип ван Винкль, он самый! Добро пожаловать! Где же ты пропадал, старина, в продолжение долгих двадцати лет?

История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него, как одна летняя ночь. Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и дивились его рассказу; впрочем, нашлись и такие, которые подмигивали друг другу и корчили рожи, а почтенный человек в треуголке, по миновании тревоги возвратившийся к месту происшествия, поджал губы и покачал головой; тут закачались и головы всех собравшихся.

Тогда порешили узнать мнение старого Питера Вандердонка; как раз в этот момент он медленно брел по дороге. Он был потомком историка с тем же именем, оставившего одно из первых описаний этой провинции. Питер был самым старым из местных жителей и знал наизубок все примечательные события и преданья округи. Он тотчас же признал Рипа и заявил, что считает его рассказ вполне достоверным. Он заверил присутствующих, что Каатскильские горы, как подтверждает его предок-историк, искони кишели какими-то странными существами; передают, будто Генрик Гудзон, впервые открывший и исследовавший реку и прилегающий край, раз в двадцать лет обзревает эти места вместе с командой своего «Полумесяца». Таким образом, он постоянно навещает область, бывшую ареною его подвигов, и присматривает бдительным оком за рекою и большим городом, названным его именем. Отцу Питера Вандердонка будто бы удалось однажды увидеть их: призраки были одеты в старинное голландское платье, они играли в кегли в котловине между горами; да и ему самому случилось как-то летом под вечер услышать стук их шаров, похожий на раскаты далекого грома.

В конце концов толпа успокоилась и приступила к более важному делу – к выборам.

Дочь Рипа поселила его у себя. У нее был уютный, хорошо обставленный дом и рослый жизнерадостный муж, в котором Рип узнал одного из тех сорванцов, что забирались во время оно к нему на спину. Что касается сына и наследника Рипа, точной копии своего незадачливого отца, того самого, которого мы видели прислонившимся к дереву, то он работал на ферме у

зятя и отличался унаследованной от Рипа-старшего склонностью заниматься всем, чем угодно, но только не собственным делом.

Рип возобновил свои странствования и былые привычки; он разыскал также старых приятелей, но и они были не те: время не пощадило и их! По этой причине он предпочел друзей из среды юного поколения, любовь которого вскоре снискал.

Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога трактира. Его почитали как одного из патриархов деревни и как живую летопись давних, «довоенных времен». Миновало немало дней, прежде чем он вошел в курс местных сплетен и уяснил себе поразительные события, происшедшие за время его многолетнего сна. Много чего пришлось узнать Рипу: узнал он и про войну за независимость, и про свержение ига старой Англии, и, наконец, что он сам превратился из подданного короля Георга III в свободного гражданина Соединенных Штатов. Сказать по правде, Рип плохо разбирался в политике: перемены в жизни государств и империй мало задевали его; ему был известен только один вид деспотизма, под гнетом которого он столь долго страдал, – деспотическое правление юбки. По счастью, этому деспотизму тоже пришел конец; сбросив со своей шеи ярмо супружества и не страшась больше тирании хозяйки ван Винкль, он мог уходить из дому и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании ее имени он покачивал головою, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было счесть выражением и покорности своей печальной судьбе, и радости по поводу неожиданного освобождения.

Рип рассказывал свою историю каждому новому постояльцу гостиницы мистера Дулитля. Было замечено, что вначале он всякий раз вносил в эту историю кое-что новое, вероятно из-за того, что только недавно пробудился от своих сновидений. Под конец его история отлилась в тот самый рассказ, который я только что воспроизвел, и во всей округе не было мужчины, женщины или ребенка, которые не знали ее наизусть. Иногда, впрочем, выражались сомнения в ее достоверности; кое-кто уверял, что Рип попросту спятил и что его история и есть тот пункт помешательства, который никак не вышибить из его головы. Однако старые голландские поселенцы относятся к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Каатскильских гор, они утверждают, что это Генрик Гудзон и команда его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе женин башмак, когда им жить становится невмоготу, мечтают о том, чтобы испить забвения из кубка Рипа ван Винкля.

Жених-призрак

*Тот, для кого весь в яствах стол стоит,
Тот, мне сказали, недвижим лежит!
Вчера при мне он в горнице прилег,
А нынче стлал ему седой клинок.
Сэр Эджер, сэр Грейм и сэр Грей-Стил*

На одной из горных вершин Оденвальда, дикой и романтической области в южной части Германии, лежащей близ слияния Майна и Рейна, в давние, давние годы стоял замок барона фон Ландсхорта. Теперь он пришел в совершенный упадок, и его развалины почти полностью скрыты от взоров буковыми деревьями и темными соснами, над которыми, впрочем, еще и поныне можно видеть сторожевую башню, стремящуюся, подобно своему бывшему владельцу – его имя я назвал выше, – высоко держать голову и поглядывать сверху вниз на окрестные земли.

Барон был последним отпрыском великого рода Каценеленбоген⁵ и унаследовал от предков остатки угодий и их тщеславие. Хотя воинственные наклонности предшественников барона и нанесли непоправимый урон фамильным владениям, он тем не менее старался поддерживать видимость былого величия. Времена были мирные, и германская знать, покидая свои неудобные замки, прилепившиеся к горам, точно орлиные гнезда, строила себе удобные резиденции в плодородных долинах. Барон, однако, гордо отсиживался наверху в своей маленькой крепости, поддерживая с наследственным упорством старые родовые распри и вражду, завещанную ему прапрадедами, и находясь по этой причине в дурных отношениях с некоторыми из своих ближайших соседей.

Барон был отцом единственной дочери; природа, дарящая людям единственного ребенка, сторицей вознаграждает родителей, создавая настоящее чудо, – так было и с баронской дочерью. Нянюшки, кумушки и окрестные родичи уверяли отца, что такой красавицы не найти в целой Германии, а кому же лучше знать о таких вещах, как не им? К тому же она выросла под неусыпным наблюдением двух незамужних тетюшек, живших некогда, в дни своей молодости, при одном крошечном немецком дворе и отлично осведомленных во всем, что требуется для воспитания знатной дамы. Следуя их указаниям, она превратилась в вершину совершенства. К восемнадцати годам она научилась восхитительно вышивать и изобразила на коврах целые жития святых, причем выражение их лиц было до того строгим, что они скорее походили на души чистилища. Она могла также почти свободно читать и разобрала по складам несколько церковных легенд и почти всю «Книгу героев»⁶ с ее нескончаемыми чудесами и подвигами. Она сделала значительные успехи даже в письме: умела подписать свое имя, не пропустив ни единой буквы и так разборчиво, что тетюшки читали ее подпись, не прибегая к очкам. Она преуспевала и в рукоделии, снабжая дом изящными дамскими безделками всякого рода; была искусна в самых сложных новейших танцах, наигрывала на арфе и гитаре немало романсов и песен и знала наизусть все трогательные баллады миннезингеров. Ее тетюшки – в дни молодости ужасные кокетки и ветреницы – были, можно сказать, предназначены к роли бдительных стражей и строгих судей поведения своей юной племянницы, ибо нет более чопорных и неумолимых дуэний, чем состарившиеся кокетки. Они почти не спускали с нее глаз; она никогда не выходила из замка без большой свиты, или, вернее, охраны, и ей постоянно внушали правила

⁵ Т.е. «локоть кошки». Это имя носили представители некогда могущественного местного рода. Нам говорили, что первоначально это было прозвище, данное в качестве комплимента одной бесподобной красавице, принадлежавшей к этой семье и славившейся красотой своих рук. – *Примеч. авт.*

⁶ «Книга героев» – собрание немецких героических сказаний XV–XVI веков.

благопристойности и беспрекословного послушания; а что касается мужчин, то – боже милостивый! – ее научили держать их на таком почтительном расстоянии, относиться к ним с таким недоверием, что без надлежащего дозволения она не посмела бы взглянуть даже на самого красивого кавалера в мире – да, да! – не посмела бы, даже если бы он умирал у ее ног. Прекрасные результаты такой системы были очевидны. Молодая девушка могла служить образцом послушания и благонравия. В то время как ее сверстницы растрачивали свое девическое очарование среди мирской сумятицы и мишуры, так что нежный цветок его мог быть сорван и потом выброшен какой-нибудь безжалостною рукой, она застенчиво и целомудренно, как роза между шипами-телохранителями, расцветала под бдительным оком добродетельных старых дев и превратилась, наконец, в прелестную девушку. Тетушки поглядывали на нее с гордостью и торжеством, похваляясь, что, хотя всем другим юным девам на свете недолго споткнуться, с наследницей рода Каценеленбоген, благодарение небу, ничего подобного случиться не может.

Хотя барону Ландсхорту и не посчастливилось иметь много детей, все же за его стол садилась куча народу, так как судьба с избытком наградила его бедными родственниками. Все они, как один, обладали характером пылким и привязчивым, что вообще свойственно небогатой родне; все обожали барона и пользовались любым подходящим случаем, чтобы налетать к нему целыми стаями и оживлять своим присутствием замок. Свои семейные торжества эти славные люди неизменно справляли за счет барона и, угостившись всласть, уверяли, будто на всей земле нет ничего упоительнее, чем эти семейные встречи, чем эти праздники сердца.

Несмотря на свой малый рост, барон обладал великой душой, и она пыжилась от удовольствия, сознавая, что в окружающем его крошечном мире ему принадлежит первое место. Он любил растекаться в длинных-предлинных рассказах о доблестных воинах доброго старого времени, чьи портреты хмуро глядели со стен, и нигде он не находил таких внимательных слушателей, как среди тех, кто кормился за его счет. Он всею душою тянулся к чудесному и безоговорочно верил бесконечным легендам и сагам, которыми в Германии славятся любая гора и долина. Его гости были, впрочем, еще простодушней и слушали эти рассказы с широко раскрытыми глазами и ртами, причем никогда не забывали выразить свое изумление, хотя бы им в сотый раз приходилось выслушивать то же самое.

Так вот и жил барон фон Ландсхорт, оракул у себя за столом, абсолютный монарх в пределах принадлежавшей ему небольшой территории и сверх всего счастливец, глубоко убежденный в том, что он – мудрейший человек своего века.

В момент, с которого, собственно, и начинается моя повесть, в замке происходило очередное сборище родственников, съехавшихся на этот раз по исключительно важному поводу: предстояло встретить жениха, избранного бароном для дочери. Между отцом невесты и одним престарелым дворянином-баварцем было достигнуто соглашение, ставившее своей целью объединить славу их благородных имен заключением брака между детьми. Предварительные переговоры протекали со всеми подобающими формальностями. Молодые люди были помолвлены, ни разу не повидав друг друга; уже был назначен день свадьбы. Молодой граф фон Альтенбург был вызван с этой целью из армии и в данное время находился в пути, направляясь в замок барона, чтобы из его рук получить невесту. Задержавшись по непредвиденным обстоятельствам в Вюрцбурге, он прислал оттуда письмо с указанием дня и часа своего прибытия.

В замке начались оживленные приготовления к приему долгожданного гостя. Прекрасную невесту наряжали с необычайною тщательностью. Тетушки, которым принадлежала верховная власть во всем, что касалось ее туалета, спорили из-за каждой принадлежности ее свадебного наряда целое утро. Используя их распрю, молодая девушка последовала указаниям своего вкуса, который, по счастью, оказался хорош. Она была так прелестна, как только мог пожелать юный жених. Тревога ожидания делала ее еще привлекательней.

Краска румянца, вспыхивавшая на ее лице и на шее, учащенное дыхание, колыхавшее грудь, глаза, время от времени погружавшиеся в задумчивость, – все свидетельствовало о

нежном волнении, царившем в ее сердечке. Подле нее неизменно продолжали свои хлопоты тетушки, ибо незамужние тетушки проявляют особенный интерес к делам этого рода. Они преподали ей целую кучу благоразумных советов, наставляя ее, как держаться, что говорить и каким образом встретить своего суженого.

Барон был не меньше других занят приготовлениями. Сказать по правде, его вмешательство вовсе не требовалось, но этот живой, суетливый от природы маленький человечек не мог оставаться бездейственным среди царившей вокруг суматохи. С невероятно озабоченным видом метался он по всему замку, беспрерывно отрывая слуг от работы и увещевая их проявить как можно больше усердия; его жужжание, доносившееся из всех зал и всех комнат, было столь же докучливо и неутомимо, как жужжание большой синей мухи в разгар знойного летнего дня.

Между тем зарезали заранее откормленного теленка, леса огласились гиканьем охотников, кухня была завалена отменной провизией, из подвалов извлекались целые океаны рейнвейна и ферневейна, даже на большую гейдельбергскую бочку⁷ была наложена некая контрибуция. Все было готово к приему бесценного гостя с обычным для немцев веселым и шумным гостеприимством. А гостя все нет как нет: он запаздывал. Час проходил за часом. Солнце, еще недавно освещавшее своими косыми лучами могучие леса Оденвальда, теперь золотило уже только самую кромку горных вершин. Барон поднялся на свою самую высокую башню и напрягал зрение в надежде увидеть где-нибудь в отдалении графа и его спутников. Однажды ему показалось, будто он уже видит их; из долины послышался звук рогов, подхваченный горным эхом. Далеко, далеко внизу можно было различить всадников, медленно подвигавшихся по дороге; почти достигнув подножия горы, они внезапно повернули и поскакали в другом направлении. Угасли последние лучи солнца, в наступивших сумерках замелькали летучие мыши; дорогу уже едва можно было различить, на ней не было никого, кроме крестьян, устало тащившихся по домам после дневных трудов. В те самые часы, когда старинный замок Ландсхорт пребывал в тревоге и беспокойстве, тут же, в Оденвальде, но несколько в стороне, произошло событие большой важности.

Молодой граф фон Альтенбург безмятежно совершал свой путь той легкой размеренной рысью, какая подобает человеку, едущему жениться и знающему, что благодаря заботам друзей он избавлен от хлопот и сомнений в исходе своего сватовства и его ждет невеста – ждет так же несомненно, как по окончании томительного пути его несомненно ожидает обед. В Вюрцбурге он встретился с товарищем по оружию, некоторое время служившим вместе с ним на границе. Это был Герман фон Штаркенфауст, славившийся среди немецкого рыцарства необычайной силой и благороднейшим сердцем. Он возвращался ныне из армии. Замок его отца находился неподалеку от старинной крепости Ландсхорт, но обе семьи издавна враждовали между собою и никогда не общались. Обрадованные неожиданной встречей, молодые люди повели речь о своих успехах и похождениях, и граф, среди прочего, сообщил также историю своей предстоящей женитьбы на девушке, которой он никогда не видал, но которую ему описали как редкостную красавицу.

Так как друзьям предстояло ехать в одном направлении, они решили проделать остаток пути сообща и, не желая торопиться, выехали на рассвете из Вюрцбурга, причем граф велел своей свите последовать за ним несколько позже и в дороге нагнать его.

Они коротали путь в воспоминаниях об эпизодах боевой жизни и бывших похождениях; впрочем, граф, рискуя наскучить своему собеседнику, снова и снова принимался описывать прославленную красоту своей нареченной невесты и говорить о счастье, которое его ожидает.

Беседуя таким образом, они начали подниматься на один из самых глухих и лесистых перевалов Оденвальда. Известно, что леса Германии всегда так же кишмя кишели разбойни-

⁷ Гейдельбергская бочка – знаменитый на всю Германию чан для вина емкостью в 140 тыс. литров, расположенный около города Гейдельберга, в замке курфюрста Баденского.

ками, как замки ее – нечистою силой; в то время, о котором здесь повествуется, число первых еще более возросло за счет беглых солдат, слонявшихся по стране. Никто поэтому не увидит ничего необычайного в том, что наши всадники подверглись в лесной глуши неожиданному нападению шайки этих бродяг. Они доблестно защищались, но их силы были уже на исходе, когда на выручку к ним подоспела графская свита. При виде ее разбойники разбежались, успев нанести графу смертельную рану. Медленно и бережно доставили его обратно в Вюрцбург; из соседнего монастыря был вызван монах, славившийся своим умением врачевать с равным успехом и тело и душу: впрочем, первое искусство оказалось излишним – часы несчастного графа были уже сочтены.

Перед смертью он попросил своего друга немедленно отправиться в замок Ландсхорт и объявить роковую причину, из-за которой он не мог явиться к невесте в назначенный срок. Не будучи чересчур страстно влюблен, он был человеком в высшей степени аккуратным, и теперь, видимо, его очень заботило, чтобы это поручение было быстро и учтиво исполнено. «Если это не будет сделано, – сказал он, – я не смогу спать спокойно в могиле». Он произнес эти слова с особой торжественностью. Просьбу умирающего, высказанную при столь трагических обстоятельствах, следовало уважить. Штаркенфауст постарался его успокоить: он обещал в точности выполнить его волю и в подтверждение своих слов протянул ему руку. Умирающий пожал ее в знак благодарности и вскоре после этого впал в беспамятство. В бреду он говорил о невесте, о своих обязательствах перед нею, о данном им слове, требовал, чтобы к нему подвели коня, на котором он сейчас же поскачет в замок Ландсхорт, и скончался, воображая, будто садится в седло.

Штаркенфауст вздохнул о безвременно погибшем товарище, смахнул с глаз скупую слезу солдата и предался размышлениям о весьма неприятной миссии, выпавшей на его долю. Он брался за нее с тяжелым сердцем и со смятением в мыслях, ибо ему предстояло явиться в качестве незваного гостя к недругам и омрачить их празднество роковым для их радужных упований известием. Впрочем, в душе его пробудилось известное любопытство, и ему захотелось взглянуть на прославленную красавицу Каценеленбоген, столь ревниво скрываемую от света. Нужно сказать, что он принадлежал к числу страстных поклонников прекрасного пола, к тому же ему были свойственны эксцентричность и предприимчивость, так что любое приключение увлекало его до безумия.

Перед тем как покинуть Вюрцбург, он заключил с монастырской братией необходимое соглашение о погребальных обрядах над его другом, которого предполагалось похоронить в местном соборе, рядом с его славными родичами; глубоко опечаленная графская свита взяла на себя заботу о его бранных останках.

Однако пора возвратиться к древнему роду Каценеленбоген, члены которого, нетерпеливо ожидавшие гостя, еще нетерпеливее ждали обеда, а также к достойному маленькому барону; мы оставили его в час вечерней прохлады на сторожевой башне замка.

Спустилась ночь, но гостя все еще не было. Барон сошел с башни в отчаянии. Обед, который откладывался с часу на час, долгие не терпел отлагательства. Мясные кушанья перепрели, повар выходил из себя, гости своим видом напоминали гарнизон крепости, сдавшейся из-за голода. Барону волей-неволей пришлось распорядиться подавать на стол, несмотря на отсутствие жениха. Но как раз в ту минуту, когда все, усевшись уже по местам, готовились приступить к долгожданному пиру, звук рога, раздавшийся у ворот, возвестил о прибытии путника. Еще раз протяжно протрубил рог, и старые дворы замка наполнились эхом. Стража подала со стены ответ. Барон заторопился навстречу своему нареченному зятю.

Спустили подъемный мост, путник подъехал к воротам. Это был рослый красивый всадник на вороном скакуне. Лицо его покрывала бледность, глаза горели романтическим блеском, на всем его облике лежала печать благородной грусти. Барон был слегка обижен, что гость приехал один, без подобающей случаю пышности. На какое-то (правда, очень короткое) время он

почувствовал себя оскорбленным и готов был рассматривать этот факт как недостаток уважения к столь значительному событию в жизни столь значительного семейства, с которым гость должен был породниться. Впрочем, он тотчас же успокоился и решил, что это все нетерпение молодости, побудившее жениха опередить свою свиту.

– Я весьма сожалею, – начал путник, – что врываюсь к вам в столь неподходящее время...

Барон прервал его бесчисленным количеством приветствий и поздравлений, ибо, надо сказать, он всегда гордился своею любезностью и своим красноречием. Гость попытался было раза два или три остановить поток его слов, но это оказалось тщетной попыткой, и ему пришлось склонить голову и предоставить барону свободу действий. Между тем барон сделал первую паузу только тогда, когда они прошли во внутренний двор; здесь путник снова попытался заговорить, но его намерению помешало появление женской половины семьи вместе с оробевшей и зарумянившейся невестой.

Он взглянул на нее и замер как зачарованный; казалось, что в его взгляде пылает душа и что его навеки приковал к себе ее милый девический образ. Одна из ее незамужних тетушек шепнула ей что-то на ухо, девушка сделала усилие, чтобы заговорить; она робко подняла свои влажные голубые глаза, бросила застенчивый и в то же время пытливый взгляд на незнакомого рыцаря и тотчас же отвела его в землю. Она не вымолвила ни слова, но на устах ее заиграла улыбка, на щеках появились легкие ямочки – и это доказывало, что она отнюдь не разочарована. Впрочем, было бы странно, если бы столь изящный и привлекательный кавалер не пришелся по сердцу восемнадцатилетней девице, весьма благосклонной к любви и замужеству.

Поздний час исключал возможность немедленного открытия переговоров. Барон был по-прежнему неумолимо любезен и, отложив беседу делового характера до утра, повел гостя к еще не тронутому столу.

Он был накрыт в большом зале замка. На стенах висели портреты суровых героев из рода Каценеленбоген, а также трофеи, добытые ими на полях сражений и на охоте. Нагрудники с прогибами от ударов, сломанные турнирные копыя, изорванные в клочья знамена и тут же рядом – добыча лесных боев: кабаньи и волчьи пасти, грозно оскалившие свои клыки среди самострелов и бердышей, и огромные рога матерого оленя, разветвлявшиеся прямо над головой юного жениха.

Впрочем, рыцарь, по-видимому, не замечал ни окружавшего его общества, ни обильного угощения. Он едва прикоснулся к еде и, казалось, был всецело поглощен своею невестой. Он говорил совсем тихо, так, чтобы его не могли слышать соседи, ибо любовь никогда не говорит полным голосом; но разве существует на свете столь нечуткое женское ухо, которое не уловило бы самого невнятного шепота, если он исходит из уст возлюбленного? В его манере говорить сочетались сдержанность и нежность, что, видимо, произвело на девушку сильное впечатление. Она слушала его с глубоким вниманием, и на щеках ее то вспыхивала, то угасала краска румянца. Время от времени она стыдливо отвечала ему на вопросы, а когда он отводил глаза в сторону, решалась украдкой бросить взгляд на его романтическое лицо и неслышно вздохнуть от избытка счастья и нежности. Было очевидно, что молодые люди полюбили друг друга. Тетушки – а кому, как не им, знать толк в сердечных делах? – решительно заявили, что и он, и она прониклись любовью с первого взгляда.

Ужин протекал весело или, во всяком случае, шумно, ибо гости были счастливыми обладателями того благословенного аппетита, который дружит с пустыми кошельками и горным воздухом. Барон рассказывал самые лучшие и самые длинные из своих историй, и никогда он не рассказывал их так хорошо или по крайней мере с бóльшим аффектом. Если в них попадалось что-нибудь сверхъестественное, его слушатели тотчас же начинали охать и ахать, если фривольное – хохотали, и как раз там, где это требовалось. Барон, надо признаться, подобно большинству великих людей, был до того преисполнен сознания собственного достоинства, что никогда не снисходил ни до какой иной шутки, кроме разве в высшей степени плоской.

Но она неизменно подкреплялась бокалом отличного хоккеймера; а когда стол уставлен веселым старым вином, самая плоская шутка хозяина становится неотразимой. Много всякой всячины было выложено другими – не такими богатыми, зато более остроумными – шутниками; остроты их, впрочем, неповторимы, и воспроизвести их можно было бы, пожалуй, лишь в сходных условиях; много лукавых речей, сказанных на ушко женщинам, заставили их корчиться от еле сдерживаемого смеха, а один бедный, веселый и круглолицый кузен проревел несколько песенок, заставивших девственных тетушек укрыться за веерами.

Среди этого шумного пиршества молодой рыцарь сохранял какую-то совершенно особенную и неуместную тут серьезность. На его лице все явственней проступало выражение глубокой подавленности; по-видимому, как это ни странно, остроты барона еще больше усугубляли его тоску. Порой он впадал в задумчивость, а порою, напротив, глаза его беспокойно и безостановочно блуждали вокруг, выдавая, что ему как-то не по себе. Его беседа с невестой становилась все серьезнее и загадочнее; на ее чистом, безмятежном челе стало собираться хмурое облачко, по ее чувствительному, нежному телу время от времени пробежала легкая дрожь.

Все это не могло ускользнуть от внимания окружающих. Их веселье было отравлено непонятною мрачностью жениха; она проникала в их души. Они начали перешептываться, обмениваться тревожными взглядами, пожимать плечами и покачивать головой. Песни и смех стали раздаваться все реже; все чаще общую беседу прерывали зловещие паузы; вслед за ними потянулись диковинные истории и таинственные легенды. Один страшный рассказ влек за собою другие, еще более страшные. Наконец барон довел нескольких дам почти до истерики своей повестью о всаднике-призраке, похитившем прекрасную Ленору, – эта жуткая, но правдивая история переложена была впоследствии в великолепные стихи и обошла в таком виде весь свет⁸.

Жених выслушал повесть с глубоким вниманием. Он устремил на барона пристальный взгляд и, когда рассказ подошел к развязке, начал медленно подниматься с места; он становился все выше и выше, и замороженному взору барона почудилось, будто он превратился чуть ли не в великана. Как только повесть была закончена, рыцарь тяжело вздохнул и торжественно попрощался с присутствующими. Все были изумлены. Барона, казалось, поразил гром.

Как? Покинуть замок в полночный час! Но ведь все готово к его приему; если ему желательно отдохнуть, то его ожидает опочивальня.

Гость мрачно и загадочно покачал головой.

– Этой ночью, – сказал он, – этой ночью мне надлежит почивать в другом месте.

В ответе и в тоне голоса говорившего заключалось нечто, от чего сердце барона сжалось; он собрался, однако, с духом и повторил свое гостеприимное приглашение.

Гость молчаливо, но решительно отклонил его просьбу, махнул на прощанье рукой и медленно направился к выходу. Тетушки просто окаменели; невеста опустила головку, в ее глазах заблестели слезы.

Барон последовал за своим гостем; они вышли на главный замковый двор, где, роя копытом землю и нетерпеливо пофыркивая, стоял вороной скакун жениха. Дойдя до ворот, глубокую арку которых тускло освещал факел, гость на мгновение остановился и глухим, мертвенным голосом, приобретающим под сводами еще более замогильный оттенок, сказал:

– Теперь, когда мы одни, я могу объяснить причину моего отъезда. Я связан священным, нерушимым обязательством...

– Но почему же, – прервал барон, – вам не послать кого-нибудь вместо себя?

– Заменить меня не может никто... я должен явиться лично... мне нужно вернуться в Вюрцбург, в собор...

⁸ Ирвинг имеет в виду одноименную балладу немецкого поэта Бюргера (1747–1794).

– Если так, – сказал воспрянувший духом барон, – почему же не сделать этого завтра? Завтра вы повезете с собою невесту.

– Нет! Нет! – воскликнул гость еще торжественней. – Мои обязательства совершенно иного рода, и невеста тут ни при чем... Черви, черви ожидают меня. Я – мертвец... меня убили разбойники... мое тело покоится в Вюрцбурге... в полночь меня предадут погребению... меня ждет могила... я обязан сдержать обещание.

С этими словами он вскочил на своего скакуна, вихрем пронесся по подъемному мосту, и топот конских копыт затих в завываниях ветра.

Возвратившись в зал в состоянии крайней растерянности, барон рассказал обо всем происшедшем. С двумя дамами приключился самый что ни на есть настоящий обморок, остальные похолодели от ужаса при мысли о том, что они пировали с призраком, вышедшим из могилы. Одни высказались в том смысле, что это был, наверное, дикий охотник, которому принадлежит столь видное место в германских поверьях, тогда как другие толковали о горных духах, леших и иных сверхъестественных существах, с незапамятных времен неотступно преследующих добрый немецкий народ. Один из бедных родственников отважился намекнуть, что это просто-напросто забавная выходка юного кавалера и что самая мрачность его причуды вполне согласуется с глубоко меланхолическим обликом юноши. Это предположение, однако, навлекло на смельчака негодование всего общества, в особенности барона, окинувшего его таким взглядом, как если бы он был псом неверующим, так что гостю пришлось поскорей отречься от своих еретических мыслей и вернуться в лоно истинной веры.

Но каковы бы ни были возникшие было сомнения, на следующий день они разрешились, так как прибыло послание, подтвердившее сведения об убийстве юного графа и о его погребении в соборе города Вюрцбурга.

Легко представить себе, какой ужас охватил обитателей замка. Барон заперся у себя. Гости, прибывшие для того, чтобы разделить его радость, не могли, конечно, покинуть его в беде. Они слонялись по двору или собирались кучками в зале, покачивали головой, пожимали плечами, ужасаясь несчастьем, свалившемся на столь достойного человека, а потом сидели за столом дольше обычного и с еще большим рвением, чем обычно, ели и пили, желая поддержать в себе бодрость духа. Но наиболее грустным было, несомненно, положение овдовевшей невесты. Потерять супруга, прежде чем она успела обнять его, и притом... какого супруга! Ведь если призрак его обладает таким изяществом и благородством, то чем был бы живой жених! Своими жалобами она наполняла весь дом.

На вторые сутки своего вдовства она отправилась почивать к себе в комнату в сопровождении тетушки, пожелавшей провести ночь вместе с нею. Тетушка – одна из лучших на всей немецкой земле рассказчиц историй с участием привидений – долго тянула какую-то длинную-предлинную повесть и заснула на середине ее. Комната была уединенная и выходила окнами в небольшой сад. Племянница не спала; она задумчиво глядела, как лучи восходящей луны трепетали на листьях осины у самого переплета оконной рамы. Башенные часы только что пробили полночь, как вдруг из сада полились нежные, мелодичные звуки. Девушка поспешно встала с постели и бесшумно скользнула к окну. В тени деревьев виднелась высокая мужская фигура. Когда незнакомец поднял голову, его лицо осветил лунный луч. О небо! Пред нею стоял жених-призрак... В то же мгновение за нею раздался пронзительный крик: тетушка, которую разбудила музыка и которая тихонько последовала за своей юной племянницей, упала на ее руки. Когда девушка снова посмотрела в окно, призрака в саду уже не было.

Оказалось, что из этих двух представительниц прекрасного пола теперь в уходе и попечении нуждается главным образом тетушка, ибо со страху она окончательно потеряла голову. Что же до юной невесты, то даже призрак ее возлюбленного – и тот казался ей милым. В нем заключалось как-никак какое-то подобие мужской красоты, и хотя тень мужчины едва ли способна удовлетворить пылкие чувства жаждущей любви девушки, но раз нет ничего посуще-

ственное, то и в ней можно найти чуточку утешения. Тетушка заявила, что не станет спать в этой комнате; в свою очередь и племянница, впервые в жизни выказав непослушание, столь же решительно заявила, что не станет спать ни в каком другом помещении замка, из чего последовал вывод, что ей придется спать в одиночестве. При этом она взяла с тетушки обещание не разглашать истории с призраком и не лишать ее последней оставшейся ей на земле горькой отрады, а именно занимать комнату, у которой тень ее милого выстаивает ночами на страже.

Как долго могла бы держать свое слово добрая старая дама, сказать невозможно – она обожала тараторить про всякие чудеса, и если бы ей удалось раньше других рассказать об этой жуткой истории, ее ожидал бы настоящий триумф. Впрочем, в этих местах еще и поныне в качестве достопамятного примера женской сдержанности ссылаются на то обстоятельство, что тетушка боролась с искушением в течение целой недели, пока как-то за утренним завтраком с нее не были сняты дальнейшие ограничения, ибо обнаружилось, что юная дева бесследно исчезла. Ее комната была пуста, постель не смята, окно раскрыто – птичка упорхнула!

Изумление и тревогу, порожденные этим известием, могут вообразить только те, кто когда-либо присутствовал при суматохе, которую несчастья великого человека вызывают между его друзьями. Даже бедные родственники – и те прервали на время свои неутомимые труды за обеденным столом. Вдруг тетушка, которая в первую минуту потеряла дар речи, всплеснула руками и вскрикнула:

– Призрак... призрак... ее унес призрак!

В немногих словах рассказала она о жуткой сцене в саду и закончила утверждением, что невесту, бесспорно, похитил призрак. Двое слуг подкрепили это предположение; они показали, что приблизительно в полночь слышали у подножия горы цоканье конских копыт; то был, без сомнения, призрак, на вороном скакуне умчавший невесту в могилу. Присутствующим ничего иного не оставалось, как допустить вероятность этой ужасной догадки, ибо случаи подобного рода не представляют в Германии ничего необычного, что подтверждается великим множеством вполне достоверных рассказов. До чего же плачевно было положение бедняги барона! Душераздирающая дилемма предстала теперь перед ним, нежным отцом и представителем достославного рода Каценеленбоген. Одно из двух: либо его дочь, его единственное дитя, похищена мертвецом, либо ему предстоит иметь зятем кого-нибудь из лесных духов, а внучатами, чего доброго, – выводок лешенят. Как обычно, он потерял голову и поставил весь замок на ноги. Людям было приказано седлать лошадей и обшарить все дороги, тропы и доли Оденвальда. Сам барон, облачившись в ботфорты и препоясавшись мечом, приготовился было вскочить на коня, чтоб пуститься в безнадежные поиски, но неожиданное событие задержало его отъезд.

На роскошно убранном иноходце к замку подъехала какая-то дама и сопровождавший ее верхом кавалер. Подскакав к воротам, она спешила, бросилась в ноги барону и прильнула к его коленям. То была его пропавшая дочь, а вместе с ней жених-призрак. Барон остолбенел. Он взглянул на дочь, взглянул на призрака – и усомнился было в свидетельстве своих чувств. С женихом, надо сказать, после посещения им царства духов произошла чудесная перемена. На нем было роскошное платье, выгодно оттенявшее его благородное мужественное сложение. Он не был уже ни бледным, ни скорбным. Его прекрасное лицо дышало юношескою свежестью, в его больших черных глазах бегали неукротимо веселые огоньки.

Тайна вскоре полностью разъяснилась. Кавалер (вы ведь чувствовали на протяжении всей повести, что ее герой вовсе не призрак) объявил, что он Герман фон Штаркенфауст. Он рассказал о гибели юного графа, о том, как он торопился в замок с печальным известием, как красноречие барона помешало ему изложить его грустную повесть, как его с первого взгляда обворожила невеста, как, сгорая от желания провести рядом с ней хотя бы несколько часов, он решил молчать и не открывать истины, как ломал себе голову, дабы отступить, соблюдая благопристойность, пока барон своими историями о призраках не подсказал ему, нако-

нец, странный способ удалиться. Он сообщил также о том, что, из опасения перед старинною фамильною распрей, стал повторять свои посещения тайно, как приходил в сад под окна юной девицы, как добивался ее взаимности, добился ее, увез, наконец, красавицу из дому и, короче говоря, обвенчался с нею.

При других обстоятельствах барон был бы неумолим, ибо ревниво относился к своей родительской власти и, кроме того, отличался редким упрямством, если дело касалось застарелой семейной вражды. Но он любил свою дочь, он оплакивал ее, как погибшую, и теперь радовался, обрета целой и невредимой; правда, муж ее происходил из враждебного рода, но зато, благодарение небу, не имел ничего общего с призраками. В проделке рыцаря, выдавшего себя за покойника, заключалось, надо признаться, нечто не вполне совпадавшее с представлением о безупречной правдивости, но некоторые из старых друзей барона, которым в свое время пришлось побывать на войне, убедили его, что в любви простительна всякая хитрость и что кавалер имел на нее тем большее право, что совсем недавно оставил службу в войсках.

Итак, все уладилось как нельзя лучше. Барон тут же на месте простил молодую чету. Празднества в замке возобновились. Бедные родственники приняли нового члена семьи с радушием и любезностью: он был так учтив, так благороден и так богат. Тетушки, правда, были немного сконфужены, что проводившаяся ими система затворничества и беспрекословного послушания нисколько не оправдала себя, но приписали это своей небрежности, состоявшей будто бы в том, что они не прибили к окнам решеток. Одна из них никак не могла примириться с мыслью, что страшный рассказ ее безнадежно испорчен и что единственный призрак, который ей случилось увидеть, оказался подделкой; что же касается ее юной племянницы, то она, по-видимому, была бесконечно счастлива, обнаружив, что призрак состоит из самой что ни на есть настоящей плоти и крови. Здесь повести нашей – конец.

Легенда о Сонной Лощине

Из бумаг покойного Дидриха Никербокера

Страною грез дремотных это было,
Плывущей мимо полусонных глаз,
Воздушным замком облака, что всплыло,
Чтоб в летнем небе утонуть тотчас.

Джеймс Томсон. «Замок Лени»

В глубине одной из тех просторных бухт, которыми изрезан восточный берег Гудзона, там, где река раздается вширь, – в старину этот разлив был окрещен голландскими мореплавателями Таппан-Зее⁹, причем здесь они всегда предусмотрительно убирали часть парусов и молились св. Николаю о заступничестве и покровительстве, – лежит небольшой торговый поселок, или, вернее, сельская пристань, именуемая при случае Гринсбургом, хотя точное и общепотребительное название ее – Тарри-Таун¹⁰. Нам рассказывали, что она была прозвана так во дни оны почтенными кумушками здешнего края, отметившими таким образом застарелую склонность своих супругов застревать в базарные дни в деревенском трактире. Как бы то ни было, не ручаясь за достоверность этого объяснения, я привожу его здесь потому, что стремлюсь к точности и достоверности. Неподалеку от деревни, в каких-нибудь двух-трех милях, находится небольшая долина, или, вернее, лощина, окруженная высокими холмами и являющаяся одним из самых безмятежных и мирных уголков на всем свете. По ее дну скользит ручеек, баюкающий и навевающий дрему; случайный свист перепела да «тук-тук» зеленого дятла – вот единственные звуки, нарушающие ее неизменную тишину.

Вспоминаю, что в дни юности именно здесь, в роще, прикрывающей один из склонов лощины, среди высоких ореховых деревьев, я застрелил свою первую белку. Дело было в послеполуденный час, когда природа особенно тиха, так что меня самого испугал громкий выстрел моего ружья, прервавший торжественное безмолвие и к тому же продленный и повторенный сердитым эхом. Если я затоскую когда-нибудь об убежище, в котором я мог бы укрыться от мира и его суетности и погрезить в тиши остаток моей беспокойной жизни, то мне не найти уголка более благословенного, чем эта маленькая лощина.

Благодаря своей безмятежности и тишине, а также некоторым особенностям в характере обитателей, кстати сказать – потомков первых голландских переселенцев, этот уединенный дол издавна именуется Сонной Лощиной, и местных парней величают в окрестности не иначе, как «соннолощинскими». Кажется, будто над этой землей витают какие-то клонящие долу дремотные чары, которыми насыщен тут самый воздух. Иные толкуют, что долина была околдована в первые дни поселения одним высокоученым немецким доктором, тогда как другие настаивают, будто, еще до открытия этого края мастером Гендриком Гудзоном, здесь устраивал шабаши престарелый индейский вождь, прорицатель и колдун своего племени. Несомненно, однако, что это место и поныне продолжает пребывать под каким-то заклятием, заворотившим умы его обитателей, живущих по этой причине среди непрерывных грез наяву. Они любят всяческие поверья, подвержены экстатическим состояниям и видениям; пред ними зачастую витают

⁹ Таппанское озеро (голл.) – Примеч. пер.

¹⁰ С трудом поддастся переводу, нечто вроде: «Мешкай-город». В действительности это название является, как полагают, искажением голландского Tawen Dorp, то есть «Пшеничная гавань». – Примеч. пер.

необыкновенные призраки, они слышат какую-то музыку и голоса. Вся округа изобилует местными сказаниями, «нечистыми» местами, темными суевериями; над лощиною чаще, чем где-либо, полыхают падающие звезды и метеоры; водится здесь, как кажется, и ночной кошмар со всем своим многочисленным мерзким отродьем.

Главный дух из числа посещающих этот зачарованный уголок – он же, по-видимому, и главнокомандующий всем сонмом воздушных сил – некий Всадник без головы. Говорят, будто это – тень одного гессенского кавалериста¹¹, которому в какой-то безымянной битве революционной войны пушечное ядро оторвало голову и который время от времени, словно на крыльях ветра, проносится в ночном мраке пред местными жителями. Его видят, впрочем, не только в долине, но порою и на окрестных дорогах, в особенности около расположенной невдалеке церкви. И действительно, некоторые из наиболее достойных доверия историков этого края – они со всею возможною тщательностью собрали и сличили сбивчивые рассказы о призрачном всаднике – утверждают, что тело кавалериста погребено внутри церковной ограды, а дух его рыщет ночами по полю сражения в поисках оторванной головы, так что быстрота, с которой он, подобно порыву ночного вихря, мчится подчас вдоль Сонной Лощины, вызвана его опозданием и необходимостью возвратиться в ограду до первого света.

Таково в общих чертах содержание суеверной легенды, послужившей основой для множества странных историй, распространенных в этом царстве теней; что же касается призрака, то он известен у всех камельков округи как Всадник без головы из Сонной Лощины.

Примечательно, что склонность к сверхъестественному, о которой я упоминал выше, свойственна не только уроженцам долины, – она неприметным образом захватывает всякого, кто поживет в ней известное время. Как бы трезв и рассудителен до переселения в эту дремотную местность ни был пришелец, можно не сомневаться, что в скором времени он тоже подпадет влиянию чар, носящихся в воздухе, и станет великим мечтателем – будет подвержен видениям и грезам.

Я упоминаю об этом тихом и безмятежном уголке со всяческой похвалой; в этих маленьких забытых голландских долинах, разбросанных по обширному штату Нью-Йорк, ни население, ни нравы, ни обычаи не претерпевают никаких изменений. Великий поток переселений и прогресса, непрерывно меняющий облик других областей нашей беспокойной страны, проходит здесь совсем незамеченным. Долины эти подобны крошечным заводам у берегов бурных ручьев, заводам, где можно видеть, как соломинка или пузырек воздуха стоят себе мирно на якоре или медленно кружатся в игрушечной бухточке, не задеваемые порывом проносящегося мимо течения. И хотя с тех пор, как я бродил среди дремотных теней Сонной Лощины, миновало немало лет, я все еще спрашиваю себя, не произрастают ли в ее богоспасаемом лоне все те же деревья и те же семьи?

В этом затерянном уголке, в отдаленный период истории Штатов, иначе говоря – лет тридцать назад, проживал весьма достойный молодой человек по имени Икабод¹² Крейн, который поселился, или, как он имел обыкновение выражаться, «задержался» в Сонной Лощине в целях обучения окрестных детей. Он происходил из Коннектикута – штата, который, снабжая всю федерацию пионерами не только в обычном смысле этого слова, но и такими, что вспахивают мозги, ежегодно шлет за свои пределы легионы корчующих пограничные леса колонистов и сельских учителей. Фамилия Крейн¹³ довольно хорошо подходила к его наружности. Это был

¹¹ Во время освободительной войны американских колоний (1775–1783), закончившейся отделением этих колоний от Англии и образованием Соединенных Штатов Америки, в рядах английских войск сражались довольно многочисленные отряды гессенцев, «уступленных» англичанам, разумеется, за известную мзду, герцогом Гессен-Дармштадтским (Германия). – *Примеч. пер.*

¹² Икабод – редко встречающееся мужское имя библейского происхождения, обозначающее в переводе с древнееврейского «несчастливый», «бедняга». – *Примеч. пер.*

¹³ Крейн (англ. crane) – журавль.

высокий, до крайности тощий, узкогрудый и узкоплечий парень с большими руками и такими же точно ногами: кисти рук вылезали у него на целую милю из рукавов, ступни легко могли бы сойти за лопаты, да и вся фигура его была на редкость нескладной. Он был обладателем крошечной, приплюснутой у макушки головки, огромных ушей, больших зеленых и как бы стеклянных глаз, длинного, как у кулика, носа – ни дать ни взять флюгер в образе петушка, красующийся на спице и указывающий направление ветра. Когда в ветреный день в раздувающейся, как парус, одежде он крупными шагами спускался по склону холма, его можно было принять за сходящего на землю гения голода или пугало, сбежавшее с кукурузного поля.

Его школа представляла собою низкое, сложенное из бревен здание, состоявшее из единственной большой горницы; окна ее были частью застеклены, частью заклеены листами старых тетрадей. В часы, когда не было занятий, школа охранялась при помощи прикрученного к дверной ручке ивового прута и подпирающих оконные ставни кольев, так что вора, которому было очень легко проникнуть в нее, ожидали при выходе некоторые препятствия. Вполне возможно, что идея этого хитроумного приспособления была внушена строителю школы Иосту ван Гуттену таинственным устройством снасти для ловли угрей. Школьный дом был расположен в глухом, но красивом месте. Он стоял у подножия поросшего лесом холма; поблизости протекал ручеек, и тут же росла устрашающего вида береза. В знойный летний день, когда, кажется, засыпает сам воздух, оттуда доносился приглушенный гул – ученики Икабода зубрили уроки, – напоминавший жужжание пчел и прерываемый время от времени властным окриком самого наставника (то было приказание или угроза), а при случае и жутким свистом березовых прутьев, подгонявших какого-нибудь бездельника, замешкавшегося на усыпанной розами стезе знания. Необходимо отметить, что наш педагог был человек добросовестный и постоянно хранил в памяти драгоценное правило: «Кто жалеет розгу, тот портит ребенка». Ученики Икабода Крейна, поверьте мне, испорчены не были.

Тем не менее я отнюдь не считаю, что он принадлежал к числу тех жестокосердых школьных владык, которые находят удовольствие в истязании своих подданных; напротив, он отправлял правосудие, вникнув в существо дела, а не сплеча; например, он освобождал от наказания зады тщедушных и перекладывал его на ту же часть тела физически сильных учеников. Он миловал шуплого, несчастного паренька, вздрагивающего при малейшем взмахе лозы, но справедливость при этом ничуть не страдала: она вознаграждалась двойной порцией розог, всыпанных какому-нибудь коренастому, крепкому, упрямому и надоедливому пострелу, который под лозой хмурился, пыжился и становился все упрямее и угрюмее. Он называл это «исполнить свой долг пред родителями» и никогда не налагал наказания без весьма утешительного для наказуемого заверения в том, что «он будет помнить и благодарить его до конца своих дней».

Впрочем, по окончании школьных занятий Икабод становился другом и приятелем старших мальчиков и делил их забавы и игры, а в праздничные дни провожал по домам малышей, особенно тех, кому выпало счастье иметь миловидных сестер или славящихся своей хозяйственностью мамаш, относительно которых было известно, что полки у них битком набиты всякими яствами. И в самом деле, ему приходилось поддерживать хорошие отношения с учениками: доход от школы был настолько ничтожен, что его едва хватило б на хлеб насущный, ибо Икабод был обладателем отменного аппетита и, невзирая на худобу, отличался не меньшей, чем анаконда, способностью увеличиваться в объеме. Итак, дабы поддержать себя, он столовался и обитал, в соответствии с местным обычаем, у тех фермеров, дети которых у него обучались. Прожив в каком-нибудь доме неделю, он переселялся затем в другой, таская с собою все свое достояние, умещавшееся в бумажном платке, и обходил таким образом всю округу.

Но чтобы это не было слишком тяжелым налогом для кошелька его хозяев-крестьян, склонных рассматривать расход на содержание школы как непосильное бремя, а учителя как лентяя и трутня, он прибегал к различным уловкам, имевшим целью показать, что он в такой же мере полезен, как и приятен. При случае он помогал фермерам по хозяйству: ходил с ними

на сенокос, чинил изгороди, водил на водопой лошадей, пригонял коров с пастбища и пилил дрова для зимнего камелька. Он забывал в этих случаях о непогрешимом авторитете и об абсолютной власти, которыми пользовался в своем маленьком государстве – у себя в школе, и превращался в олицетворение любезности и обходительности. Лаская ребятшек, и особенно младших, он умел снискать благосклонность в сердцах матерей и, подобно свирепому льву, во время оно баюкавшему ягненка, часы напролет просиживал с каким-нибудь малышом на колене, мерно раскачивая ногой колыбельку.

При всех своих прочих обязанностях он был также регентом и клал в карман немало блестящих серебряных шиллингов, обучая местную молодежь пению псалмов. Он преисполнялся гордости и тщеславия, когда по воскресным дням занимал свое место на хорах церкви, впереди группы отборных певцов; стоя здесь, он считал в глубине души, что пальма первенства принадлежит бесспорно ему, а не священнику. Его громовой голос заглушал голоса всех молящихся, и до сих пор в этой церкви можно услышать какие-то странные рулады и завывания. Да что в церкви! Их можно услышать даже за полмили отсюда, по ту сторону мельничного пруда; утверждают, будто они являются прямыми потомками тех самых рулад и тех завываний, которые когда-то издавал Икабод. Так, с помощью маленьких хитростей и уловок, или, как говорится, «всеми правдами и неправдами», наш достопочтенный педагог зарабатывал, надо сказать, недурно, и всем, кто не имеет ни малейшего представления об усилиях, требуемых интеллектуальным трудом, казалось, что ему в удел досталась поразительно легкая и беззаботная жизнь.

Сельский учитель – обычно лицо, пользующееся известным уважением и весом среди женской половины деревни; на него смотрят, вообще говоря, как на белоручку, как на человека, в какой-то мере близкого к господам, несравненно более образованного и тонкого в обращении, чем грубые деревенские парни, и уступающего в учености разве только священнику. Его приход в дом поэтому способен вызвать некоторый переполох за чайным столом у фермера – добавление сверхштатного блюда в виде пирожного или сластей или при случае даже появление на столе серебряного парадного чайника. Нашему ученому мужу, в силу этих причин, чрезвычайно везло также на улыбки окрестных девиц. О, какая картина открылась бы нашему взору, если б нам удалось взглянуть на него в перерывах между воскресными службами, когда он блистал в их обществе на церковном дворе! Он срывал для них гроздь дикого винограда, обвивавшего стволы растущих вокруг деревьев, читал все без исключения могильные эпитафии и прогуливался, окруженный их стайкой, вдоль берега примыкающего к кладбищу мельничного пруда, в то время как робкие деревенские увальни глупо плелись позади, лопаясь от досады и завидуя его ловкости и развязности.

Благодаря полубродячему образу жизни он являлся к тому же своеобразной «странствующей газетой» и переносил из дома в дом полные короба местных сплетен, так что его всегда встречали не без известного удовольствия. Сверх того, женщины уважали в нем человека необыкновенной начитанности, ибо он прочитал от строки до строки несколько книг и знал наизуток «Историю колдовства в Новой Англии» Коттона Мезера, в непогрешимость которой, кстати сказать, верил всею душой.

В общем, он представлял собою причудливое соединение лукавства и простодушия. Его страсть к сверхъестественному и способность переваривать эти неудобоваримые вещи были воистину поразительны, причем оба названных свойства укреплялись в нем по мере пребывания в этой зачарованной местности. Для его прожорливой глотки не существовало ни слишком грубой, ни слишком нелепой басни. Как часто и с каким наслаждением, окончив после полудня занятия в школе, растягивался он на пышном ложе из клевера у берега маленького, журчащего около школьного здания ручейка и предавался здесь изучению старинных, полных ужасов повестей Мезера, пока сумерки не обволакивали печатную страницу непроницаемой сеткою мглы! И потом, когда он направлялся мимо болот, ручья и жуткого леса к дому того

фермера, где на этот раз стоял на постое, всякий звук, всякий голос природы, раздававшийся в этот заколдованный час, смущал его разгоряченное воображение: стон козодоя, несущийся со склона холма, кваканье древесной лягушки, этой предвестницы ненастья и бури, заунывные крики совы или внезапный шорох потревоженной в чаще птицы. И даже светляки, которые ярче всего горят в наиболее темных местах, время от времени, когда на его пути внезапно вспыхивала особенно яркая точка, заставляли его испуганно останавливаться. А если какой-нибудь бестолковый жук задевал его в своем несуразном полете, бедняга готов был испустить дух от страха, считая, что он отмечен прикосновением колдуна. Единственное средство, к которому он прибегал в таких случаях, – то ли чтобы освободиться от мучительных мыслей, то ли чтобы отогнать злые силы, – состояло в распевании псалмов, и простодушные обитатели Сонной Лощины, сидя вечерами у порога домов, не раз содрогались от страха, слушая его гнусавые мелодии, непрерывные и бесконечные, доносившиеся с далекого холма или со стороны окутанной мглой дороги.

Вторым источником, откуда он черпал свои жуткие наслаждения, были долгие зимние вечера, которые он проводил со старухами-голландками: они сидели у огня, пряли свою вечную пряжу, в печи лопались и шипели яблоки, а он слушал их рассказы о духах, призраках, нечистых полях, нечистых мостах, нечистых ручьях и в особенности о Всаднике без головы, или, как они порою его величали, Скачущем гессенце из Лощины. Он, в свою очередь, услаждал их историями о колдовстве, зловещих предзнаменованиях, дурных приметах и таинственных звуках, обо всем, чем в начале заселения кишмя кишел Коннектикут, и пугал их почти до бесчувствия рассуждениями о кометах, падающих звездах и сообщением тревожного факта, что земля, безусловно, вертится и что половину суток они проводят вниз головой. Но если, уютно примостившись у камелька, – комнату в таких случаях озаряло багровое пламя потрескивающих в очаге дров, и сюда, разумеется, не посмел бы показать нос ни один призрак, – Икабод испытывал от всего этого бесконечное удовольствие, то при последующем возвращении к себе домой ему приходилось расплачиваться ужасными страхами. Какие только жуткие тени и образы не подстерегали его среди тусклого и призрачного освещения выжженной ночи! С какою тоскою поглядывал он на мерцающий в далеком окне и скользящий над пустынной равниной огонек! Сколько раз останавливался он, полумертвый от страха, перед запорошенным снегом кустом, который, точно привидение в саване, преграждал ему путь! Сколько раз ledenел он от ужаса, заслышав на мерзлом снегу свои собственные шаги и боясь оглянуться назад, чтобы не обнаружить у себя за спиной какое-нибудь чудовище, преследующее его по пятам! Сколько раз, наконец, порыв завывающего между деревьями ветра доводил его почти до потери сознания, ибо ему чудилось, что это мчащийся во весь дух гессенец, который, как всегда в эту пору, рыщет в поисках своей головы.

Все это были, впрочем, не более как обыкновенные, порожденные ночью страхи, фантомы блуждающего во тьме воображения. И хотя во время этих одиноких ночных прогулок ему довелось повидать немало различных духов и даже сталкиваться с самим сатаной в его неисчислимых обликах, все же дневной свет приносил конец злоключениям подобного рода. Назло дьяволу со всеми его проделками, Икабод Крейн прожил бы, вероятно, спокойную и счастливую жизнь, не повстречай он на своем пути существа, доставляющего смертным неизмеримо больше хлопот и мучений, нежели духи, привидения и вся порода волшебников и чародеев, взятая вместе. Этим существом была женщина.

Среди тех, кого он обучал пению псалмов и которые ради этого собирались раз в неделю по вечерам, была Катрина ван Тассель, единственная дочь богатого голландского фермера. Это была цветущая девица едва восемнадцати лет от роду, пухленькая, как куропатка, крепкая, нежная и розовощекая, как персики ее отца. Она пользовалась вниманием всех молодых людей этих мест, притом не только благодаря своей красоте, но также и неисчислимым благам, ожидавшим ее избранника. Ко всему она была также немножко кокеткою, что сказывалось в ее

наряде, представлявшем собою смешение новомодного со старинным, ибо это позволяло ей выставить напоказ свои чары. Она носила украшения из червонного золота, вывезенные из Саардама еще ее прапрабабкою, обольстительный корсаж по моде былых времен и соблазнительно короткую юбку, оставлявшую открытыми самые красивые ножки во всей округе.

Икабод Крейн обладал нежным и влюбчивым сердцем. Неудивительно, что столь лакомый кусочек обрел в его глазах неизъяснимую привлекательность, в особенности после того, как он посетил ее разок-другой в родительском доме. Старый Балт ван Тассель мог бы служить образцовым портретом преуспевающего, довольного собою, благодушного фермера. Его взгляды и мысли, правда, не слишком часто перелетали за ограду его усадьбы, но зато в ее пределах все было уютно, благоустроено и добротно. Он спокойно и удовлетворенно взирал на свои богатства, но не был спесив, гордясь изобилием и довольством, а не тем, что он богаче других. Его «замок» был расположен поблизости от Гудзона, в одном из тех зеленых, укромных и плодородных уголков, в которых так любят гнездиться голландские фермеры. Огромный вяз простирал над домом могучие ветви; у его подножия, в небольшом водоеме, для которого был использован старый бочонок, кипел и рвался наружу студеной родник с изумительно мягкой и вкусной водой; выливаясь из водоема, он струился, поблескивая среди травы, и впадал в находящийся поблизости ручеек, который, тихо журча, протекал среди карликовых ив и ольшаника. Рядом с домом стоял просторный амбар; он был выстроен настолько добротно, что мог бы сойти за сельскую церковь. Каждое окно и каждая щель его, казалось, вот-вот готовы раздаться в стороны и пролить наружу неисчислимые сокровища фермы; внутри его от зари до зари слышался деловитый стук цепа; ласточки и стрижи, весело щебеча, неутомимо сновали под навесом крыши, а бесчисленные голуби, некоторые – склонившись набок и посматривая одним глазом в небо, как бы для того, чтобы выяснить, какая сегодня погода, другие – спрятав голову под крыло или уткнув ее в грудь, третьи – надуваясь, воркуя и кланяясь своим дамам, – радовались на крыше сиянию солнца.

Гладкие, неповоротливые, откормленные на убой свиньи мирно похрюкивали, нежась в прохладе хлева, из которого время от времени, как бы для того, чтобы, пофыркивая, потянуть пяточком воздух, выбегали наружу отряды потешных сосунков-поросят. Блистательная эскадра белоснежных гусей, эскортируя неисчислимый утиный флот, медленно и важно плыла вдоль берега расположенного по соседству пруда; полки индюков наполняли гомоном двор; испуская пронзительные, раздраженные крики, тут же суетились как очумелые похожие на сварливых хозяек цесарки. Перед дверью амбара важничал галантный петух – образцовый супруг, воин и джентльмен; он взмахивал блестящими крыльями, кукарекал от радости и гордости, переполнявших его сердце, и вдруг принимался разрывать землю; вслед за тем он великодушно и благородно сзывал своих вечно голодных жен и детей, чтобы порадовать их вожделенным кусочком, который ему посчастливилось отыскать.

При виде всех этих прелестей, суливших роскошные яства на долгую зиму, у нашего педагога потекли слюнки. Его прожорливое воображение рисовало каждого бегающего по двору поросенка не иначе, как с пудингом в брюшке и яблоком в оскаленной пасти; голубей он любовно укладывал в чудесный пирог, прикрыв сверху подрумяненной, хрустящей корочкой; что касается гусей, то они плавали в собственном жиру, тогда как утки, напоминая любящих, только что сочетавшихся в браке молодоженов, нежно прижавшись друг к другу, лежали на блюде, обильно политые луковым соусом. В свиньях он прозревал грудинку – жирную, нежную! – и душистую, тающую во рту ветчину; индейка витала пред его взором, повиснув на вертеле с шейкою под крылом и, быть может, опоясанная вязкою восхитительно вкусных сосисок; царственный петушок – золотой гребешок в качестве особого угощения, растянувшись на спинке с задранными вверх коготками, как бы молил о пощаде, просить о которой при жизни ему не позволял его рыцарский дух.

Пока Икабод, восхищенный представшею перед ним картиною изобилия, предавался подобным грезам, пока его зеленые, широко раскрытые глаза перебежали с жирных пастбищ на тучные, засеянные пшеницей, рожью, кукурузою и гречихой поля и потом на сады, которые окружали уютное, теплое жилище ван Тасселей, с деревьями, гнувшимися под тяжестью румяных плодов, – сердце его возжаждало наследницы этих богатств, и его воображение захватила мысль о том, как легко можно было бы превратить их в наличные деньги, а деньги вложить в бескрайние пространства дикой, пустынной земли и деревянные хоромы в каком-нибудь захо-лустье. Больше того, его живая фантазия рисовала ему пышную, цветущую, окруженную кучей ребятишек Катрину на верху переселенческого фургона, груженного всяким домашним скарбом, с горшками и котлами, покачивающимися и позвякивающими внизу у колес, и он видел себя верхом на трусящей иноходью кобыле с жеребенком, неотступно следующим за ней по пятам, на пути в Кентукки, Теннесси или один бог знает куда.

Переступив порог дома, он понял, что сердце его покорено окончательно и бесповоротно. Это был один из тех просторных деревенских домов с высоко вздымающейся, но низко свисающей крышей, образец которых унаследован от первых голландских переселенцев; карниз крыши был низко опущен, образуя по фасаду веранду, закрывавшуюся в случае ненастной погоды. Под навесом крыши висели цепи, упряжь, различные предметы сельскохозяйственного обихода и сети, которыми ловили рыбу в протекающей недалеко от дома реке. По краям веранды были расставлены скамьи, предназначенные для летнего времени; в одном конце виднелась большая прялка, в другом – маслобойка, указывавшие на многообразное применение этой пристройки. Отсюда восхищенный Икабод проник в сени, являвшиеся, так сказать, центром дома ван Тасселей и обычным местом сбора членов семьи. Здесь его взор был ослеплен рядами сверкающей оловянной посуды, в чинном порядке расставленной на полках буфета. В одном углу он заметил огромный мешок с шерстью, готовой для пряжи, в другом – только что снятые со станка куски грубошерстной ткани; початки кукурузы, вязки сушеных яблок и персиков, веселыми узорами развешанные вдоль стен, перемежались с яркими пятнами красного перца, а полуоткрытая дверь позволяла ему окинуть взглядом парадную комнату, в которой кресла с ножками в виде звериных лап и темные столы красного дерева блестели, как зеркало; таган и его вечные спутники, совок и щипцы, поблескивали сквозь свисающие с камыша кончики стеблей аспарагуса; искусственные апельсины и большие морские раковины украшали камин, над которым висели нанизанные на нитку разноцветные птичьи яйца; посреди комнаты с потолка спускалось огромное страусовое яйцо; в шкафу, находившемся в одном из углов этой гостиной и не без намерения оставленном открытым, виднелись несметные сокровища, состоявшие из старинного серебра и искусно склеенного фарфора.

Побывав в этом сказочном царстве, Икабод окончательно утратил душевный покой; все его помыслы сосредоточились на одном: как бы завоевать взаимность несравненной дочки ван Тасселя. В этом предприятии ему, впрочем, предстояло преодолеть гораздо большие трудности, нежели те, что выпадали обычно на долю странствующих рыцарей доброго старого времени, которым не часто приходилось сталкиваться с кем-либо иным, кроме гигантов, волшебников, злых драконов и тому подобных без труда обуздываемых противников, а также нужно было пробиться через какие-нибудь пустячные железные или медные двери и алмантовые¹⁴ стены, чтобы проникнуть в одну из замковых башен, где томилась дама их сердца; все это рыцарь проделывал с такою же легкостью, с какою мы добираемся до начинки рождественского пирога; после чего красавица, разумеется, отдавала ему руку и сердце. Икабоду, однако, предстояло пробиться к сердцу сельской кокетки, огражденному лабиринтом прихотей и капризов, порождавших на его пути все вновь и вновь возникавшие трудности и преграды; ему предстояло столкнуться с кучей свирепых соперников, бесчисленных деревенских воздыхателей,

¹⁴ Адамант – одно из названий алмаза.

наделенных самой настоящей плотью и кровью, соперников, ревниво охранявших подступы к ее сердцу, настороженно и злобно следивших один за другим, но готовых объединиться ради общего дела и совместными усилиями раздавить нового соискателя.

Среди них наиболее грозным противником был дюжий, суматошный и буйный молодой человек по имени Абрахам, или, как принято говорить у голландцев, Бром ван Брунт, герой здешних мест, молва о подвигах и силе которого гремела в окрестностях. Это был широкоплечий, мускулистый парень с короткими курчавыми волосами и грубоватым, хотя и не лишенным приятности, веселым, задорным и одновременно дерзким лицом. По причине геркулесового сложения и огромной физической силы он получил прозвище Бром Бонс¹⁵ и под этим именем был известен повсюду. Он пользовался славой отличного наездника и действительно сидел в седле как татарин. Он неизменно присутствовал на всех скачках и петушиных боях и благодаря своей физической силе, которая в условиях деревенской жизни придает человеку известный вес и влияние, постоянно бывал третейским судьей во всех спорах и ссорах, причем, сдвинув набекрень шапку, выносил решения тоном, не допускавшим ни недовольства, ни возражений. Он пребывал во всегдашней готовности учинить драку или какую-нибудь забавную выходку, хотя, в сущности говоря, в нем было гораздо больше задора, чем злобы; при всей его безграничной грубости основной чертой характера Брома была неудержимо рвущаяся наружу молодая, проказливая веселость. Его окружали три или четыре приятеля, которых он, можно сказать, воспитал и которые смотрели на него как на свой образец, во главе их он разъезжал по окрестностям, присутствуя при каждой ссоре и на каждом веселом сборище на несколько миль в округности. В холодную погоду его можно было узнать по меховой шапке, увенчанной пышным лисьим хвостом, и когда фермеры на сельских сходах замечали где-нибудь в отдалении этот хорошо знакомый всем головной убор впереди кучки отчаянных всадников, они всегда ожидали неминуемой бури. Порою его ватага, проносясь в полночь позади фермерских домиков, давала о себе знать криком и гиканьем, напоминавшими крики и гиканье донских казаков, и старухи, внезапно пробудившись от сна и прислушиваясь, пока все не смолкнет, восклицали: «Ах, да ведь это Бром Бонс со своею ватагою!» Соседи поглядывали на него со страхом и вместе с тем с восхищением и любовью, а когда поблизости случалась какая-нибудь сумасбродная выходка или изрядная потасовка, они неизменно покачивали головами и выражали уверенность, что это дело рук Брома Бонса.

Этот озорной герой с некоторого времени пленился цветущей Катриною и избрал ее предметом своих неуклюжих ухаживаний. Хотя его любезности чрезвычайно походили на ласки и заботы медведя, все же, как передавали на ухо, она отнюдь не отвергала его искательств. Так ли, иначе ли, но это послужило предупреждением для всех остальных воздыхателей, поторопившихся убратся с дороги, ибо кто же склонен оспаривать возлюбленную у льва. Вот почему всякий раз, когда конь Брома в воскресный вечер бывал привязан у изгороди фермы ван Тасселей – а это служило верным признаком того, что его хозяин ухаживает, или, как говорится, «увивается» где-то внутри, – все остальные поклонники, отчаявшись в успехе, проходили мимо и переносили военные действия в другие места.

Таков был грозный соперник, с которым предстояло столкнуться Икабоду Крейну. Приняв во внимание все обстоятельства, человек посильнее его, наверное, отказался бы от соперничества, человек помудрее – пришел бы в отчаяние. Но его характер представлял собою счастливое сочетание мягкости и упорства. И по своей внешности, и по своему духу Икабод Крейн напоминал камышовую трость – он был гибок, но крепок; хотя он порою сгибался, однако сломить его никто бы не мог; он склонялся под малейшим нажимом, но все же через какое-нибудь мгновение – крак! – и он опять выпрямлялся и так же высоко, как раньше, поднимал голову.

¹⁵ Бонс (англ. bones) – кости.

Вступить в открытое единоборство с подобным противником было бы сумасшествием, ибо Бром не принадлежал к числу людей, допускающих препятствия в своих любовных делах; он был, пожалуй, более пламенный и более страстный поклонник, чем сам Ахиллес. Икабод поэтому начал медленное, постепенное, на первый взгляд неприметное, наступление. Прикрываясь своим знанием учителя пения, он стал частенько захаживать на ферму ван Тасселей; этот предлог потребовался не потому, что он опасался докучливой опеки родителей, которая так часто бывает камнем преткновения на любовной тропе. Балт ван Тассель был снисходителен; он любил свою дочь, любил ее даже больше, чем трубку, и, как подобает рассудительному человеку и превосходнейшему отцу, предоставил ей свободно распоряжаться собой. Его достойная женушка была по горло занята домашним хозяйством и птичьим двором, ибо она рассудила, и, надо признать, весьма мудро, что утки и гуси – сумасшедший народ, нуждающийся в присмотре, тогда как девушки сами в состоянии позаботиться о себе. Вот почему эта вечно хлопчущая хозяйка или носилась по всему дому, или усердно трудилась за прялкой на одном конце веранды, в то время как на другом добряк Балт ван Тассель дымил своей вечернею трубкой, пристально наблюдая за движениями маленького деревянного воина, вооруженного парой шпажонок – по одной в каждой руке – и храбро сражавшегося с ветром на башенке, венчавшей собою хлебный амбар. А Икабод между тем любезничал с дочерью либо у родника под раскидистым вязом, либо прогуливался по двору в сумерках, в час, когда все благоприятствует красноречивым излияниям влюбленных.

Признаюсь, мне неизвестно, каким, собственно, способом осаждают и как в конце концов завоевывают женское сердце. Оно для меня всегда оставалось загадкой и предметом неподдельного восхищения. Иной раз сердце это имеет какое-нибудь уязвимое место, иначе говоря – как бы входную дверь, в то время как в другие сердца ведут тысячи путей, так что овладеть ими можно с помощью тысячи способов. Победа над первым – величайший триумф ловкости и находчивости, но высшее доказательство стратегического таланта – это умение удерживать власть над вторым, ибо тут мужчине приходится биться за крепость у всех ворот и у каждой бойницы. Человек, завоевавший тысячу обыкновенных сердец, приобретает благодаря такому подвигу известную славу, но тот, кому удастся сохранить безусловную власть над сердцем кокетки – тот поистине настоящий герой. Грозный Бонс отнюдь не принадлежал к разряду героев, и едва Икабод перешел к наступательным действиям, как надежды Брома стали заметно склоняться к закату: никто не видел больше его коня в воскресный вечер у изгороди фермы ван Тасселей; между ним и наставником Сонной Лощины мало-помалу возгорелась вражда не на жизнь, а на смерть.

Бром, не лишенный своеобразного, хотя весьма дикого и грубого рыцарства, был не прочь довести дело до открытого столкновения и решить спор о даме сердца в соответствии с обычаем наиболее прямолинейных и немудрствующих мыслителей – я имею в виду странствующих рыцарей минувших времен, – то есть, говоря попросту, поединком. Но Икабод слишком хорошо представлял себе соотношение сил, чтобы принять вызов и выйти на арену турнира. До него дошли хвастливые слова Брома, заявившего, что «он сложит учителя вдвое и засунет на самую дальнюю полку в его собственном классе», и он принял необходимые меры, чтобы не предоставить удобного случая для исполнения этой угрозы. Его последовательное и упрямое миролюбие доводило Брома до бешенства. У него не оставалось иного выбора, как обратиться к испытанному арсеналу деревенского остроумия и обрушиться на своего соперника градом грубых выходок и проделок. Бедный Икабод сделался предметом преследования со стороны тороватого на выдумки Бонса и его буйной ватаги. Они опустошали его некогда мирное царство, подкуривали, заткнув печную трубу, его школу пения и, несмотря на грозные преграды в виде ивового прута и ставней, пробрались однажды ночью в школьное помещение и надеялись тут такого содому, что бедняга учитель готов был подумать, что у него в школе справляли шабаш колдуны и волшебники здешних мест. Но что было еще возмутительней – Бром

старался использовать любую возможность, дабы выставить Икабода в смешном виде перед владычицей его сердца: он обучил своего негодного пса препотешно скулить и повизгивать и, приведя его пред очи Катрины, заявил, что это – достойный конкурент Икабода, способный не хуже последнего посвятить ее в тайны распевания псалмов. Дни шли за днями, а между тем в положении соперничающих сторон не замечалось никакой существенной перемены. Однажды, в чудесный день золотой осени, Икабод, задумчивый и мечтательный, восседал на высоком, точно трон, стуле, с которого он обыкновенно следил за течением жизни в подвластном ему маленьком государстве. Рука его держала линейку – этот скипетр деспотической власти; лоза правосудия, внушающая от века ужас всякому лиходею, покоилась на трех гвоздях позади царского трона, в то время как пред ним, на кафедре, можно было увидеть груды запрещенного к ношению оружия и всевозможную контрабанду, отобранную у лодырей и шалопаев из числа его подданных: тут были хлопушки, волчки, огрызки недоеденных яблок, клетки для мух и целые легионы заборных, сделанных из бумаги боевых петушков. Все говорило о том, что здесь только что произошел грозный акт правосудия: школьники, деловито уткнувшись носами в книги и поглядывая исподтишка одним глазом на неумолимого педагога, лукаво перешептывались друг с другом, и только их шепот слышался в классе. Впрочем, тишина была внезапно нарушена появлением негра, наряд которого состоял из грубой шерстяной куртки, таких же штанов и венчавшей его голову тульи от шляпы, чрезвычайно похожей на ермолку Меркурия. Восседа на спине косматого молодого, почти вовсе не обремененного коня, он управлял им при помощи обрывка веревки, заменявшего поводья. Он подъехал к школе, постучал в дверь и пригласил Икабода на праздник или на «посиделки», которые должны были состояться в тот же вечер у мингера ван Тасселя. Выполнив свою задачу с серьезным и торжественным видом и попытками выражаться изысканно и благородно (как это вообще свойственно неграм при исполнении ими мелких поручений подобного рода), он перемахнул через ручей и, исполненный сознанием важности и спешности своей миссии, понесся вверх по лощине.

В мгновение ока в недавно еще тихом и чинном классе поднялись невообразимый гомон и суеда. Школьники пустились рысью по урокам, не останавливаясь на мелочах; кто был поворнее и половчее, безнаказанно пропускал половину заданного, тогда как более медлительным и тугодумным время от времени перепадало по мягким частям, отчего у них сразу прибавлялось прыти или появлялось умение выговорить длинное слово. Книги, вместо того чтобы выстроиться в порядке на полках, были брошены как попало, чернильницы перевернуты, скамейки опрокинуты; школа затихла и опустела на целый час раньше срока, и школьники, выпавшие наружу, точно легион молодых чертенят, галдели, визжали и носились по зеленому лугу, радуясь неожиданному и преждевременному освобождению.

Что касается Икабода, то он потратил на туалет никак не менее получаса; он тщательно вычистил свою лучшую и, по правде сказать, единственную, основательно порыжевшую черную пару, снял с нее сор и пылинки и, став перед куском разбитого зеркала, висевшего в помещении школы, долго приглаживал и приводил в порядок прическу. Дабы предстать перед своей повелительницей в облике самого что ни на есть настоящего кавалера, он попросил у фермера, у которого в то время квартировал, – то был старый желчный голландец по имени Ганс ван Риппер – одолжить ему на вечер коня и, взгромоздившись на его спину, выехал, наконец, за ворота, словно странствующий рыцарь, пускающийся на поиски приключений. Я полагаю, что, в согласии с правилами истинно романтической повести, будет вполне уместно дать некоторое представление об общем виде и убранстве как моего героя, так и его скакуна. Конь, на котором восседал Икабод, был старой разбитой рабочею клячей, для которой все было в прошлом, почти все, за исключением ее норова. Она была тощая, косматая, с овечьей шеей и с головой, похожей на молоток; ее выпцветшая грива и хвост спутались и сбились от засевших в них колючек репейника; один ее глаз, лишенный зрачка, представлял собою сплошное бельмо и имел страшный вид, зато другой горел неукротимым огнем, точно в нем угнездился сам

дьявол. Впрочем, в далекие дни, если судить по имени – а звали этого коня «Порох», – он отличался благородством и пылом. Дело в том, что Порох был когда-то любимым конем желчного и раздражительного Ганса ван Риппера, в свое время бешеного наездника, передавшего, должно быть, частичку своей былой страсти коню, ибо, несмотря на его дряхлый и немощный вид, тайный демон сказывался в нем в гораздо большей степени, чем в любой молодой кобыле окрестностей.

Икабод был вполне подходящим всадником для подобного скакуна. Он держался на коротко подобранных стремянах, так что колени его были почти у луки седла; худые, острые локти торчали, как ножки кузнечика; его плеть, которую он зажал в руке концом вверх, походила на скипетр, и когда конь подбрасывал на ходу его тело, наездник размахивал руками, как крыльями. Его шерстяная шапочка была водружена прямо на переносицу, ибо вместо лба у него была лишь узенькая полоска, полы сюртука развевались почти над самым хвостом его лошади. Таков был вид Икабода и его скакуна в тот момент, когда они выезжали за ворота Ганса ван Риппера, и надо признать, что подобного рода картину не часто приходится видеть при дневном свете.

Как я сказал, был чудесный день золотой осени; небо было безоблачно и прозрачно, природа успела облачиться в свой роскошный златотканый наряд, который мы всегда связываем с представлением о богатстве и изобилии. Леса оделись в полные достоинства, спокойные бурожелтые краски, и только более хрупкие и чувствительные деревья, тронутые первыми заморозками, сверкали оранжевыми, пурпурными и алыми пятнами. Высоко в небе уже потянулись тонкие линии диких уток; в березовых и ореховых рощах слышалась переключка белок; время от времени с соседнего жнивья доносился задумчивый и нежный свист перепела.

Птицы помельче устраивали уже прощальные сборища. В упоении чирикающей и веселящейся, они порхали с куста на куст, с одного дерева на другое, беззаботные и легкомысленные, ибо вокруг царило великое изобилие и оживление. Здесь был важный и неприступный самец реполов (излюбленная дичь юных охотников), кричавший пронзительным и сварливым голосом; здесь были черные певчие дрозды, летавшие темною тучей; золотокрылый дятел с малиновым гребешком, широким черным ожерельем и ярким радостным оперением; свиристель с красными по краям крылышками, с желтым кончиком хвоста и маленькой шапочкой из крошечных перышек; синяя сойка – эта шумная щеголиха, в нарядном и легком голубоватом кафтанчике, из-под которого выглядывало белоснежное белье; она щебетала и чирикала, кивала головкой, приседала и кланялась, делая вид, что она на короткой ноге со всеми певуньями рощи.

Пока Икабод медленно трусил по дороге, его глаза, всегда широко открытые на все то, что имеет отношение к сытной и вкусной еде, с наслаждением останавливались на сокровищах, выставленных напоказ веселою осенью. Со всех сторон в огромном количестве видны были яблоки: одни висели еще обременительным грузом на коренастых деревьях, другие были уложены в корзины и бочки для отправки на рынок, третьи, сыпанные в колоссальные кучи, предназначались для выделки сидра. Дальше пошли обширные поля кукурузы: из-под лиственного покрова на каждом стебле виднелись осыпанные золотом хохолки – это зрелище породило в нем видения пирожных и заварных пудингов; в то же время лежавшие между стеблями тыквы, повернувшие к солнцу свои чудесные округлые животы, заставили его вспомнить о роскошных, тающих во рту пирогах. Окончилась кукуруза, начались поля, засеянные гречихой; отсюда несся пряный дух пасеки, и, поглядывая в эту сторону, наш герой ощутил во рту сладостный вкус румяных оладий, которые плавали в масле и которые поливала медом или патокой нежная, маленькая, пухленькая, с очаровательными ямочками, ручка Катрины ван Тассель.

Насыщая свое воображение сладостными мыслями и «сахарными мечтами», он ехал вдоль цепи холмов, с которых открывается один из самых красивых видов на могучие воды Гудзона. Солнце медленно скрывалось на западе. Уходящая вдаль зеркальная гладь Таппан-Зее была недвижима, разве где-нибудь, то здесь, то там, легкая рябь бороздила поверхность, вытя-

гивая и удлинняя синюю тень далекой горы. Несколько облачков янтарного цвета висели в бездонном небе, полная неподвижность воздуха позволяла им стоять на одном месте. Горизонт, сначала горевший червонным золотом, постепенно меняя окраску, приобрел оттенок, свойственный золотисто-зеленой коже зрелого яблока, и потом, наконец, сделался темно-синим, как глубины небесного свода. Косой луч, замешкавшийся на лесистых гребнях нагорий, круто нависавших кое-где над рекой, оттенял свинцовые и пурпурные тона скал и утесов высокого берега. Вдалеке виднелось маленькое суденышко, медленно спускавшееся вниз по течению, с парусами, празднично повисшими вдоль мачты. И так как в неподвижной воде отражалось небо, казалось, будто суденышко это парит в воздухе.

Икабод добрался до «замка» ван Тасселя под вечер. Он застал здесь гордость и цвет округи. Тут были пожилые фермеры: худые – кожа да кости – люди в домотканых штанах и куртках, в синих носках и огромных башмаках с великолепными оловянными пряжками; были и их маленькие, сухонькие, но проворные и веселые жены в плоеных чепцах, в коротких платьях с низкою талией, в домотканых юбках, с ножницами и подушечками для иголок, с пестрыми сумками из коленкора, висящими на поясе. Тут были также пышущие здоровьем девицы, одетые почти так же, как и мамыши, если не считать какой-нибудь соломенной шляпки, ленты или порою белого платья, что говорило о новшествах, занесенных из города; были, наконец, и молодые люди в куртках со срезанными под прямым углом фалдами (эти куртки были украшены рядами огромных, ярко начищенных медных пуговиц), с волосами, заплетенными, по моде того времени, в косу, в особенности у тех, кому посчастливилось раздобыть кожу угря, ценимую в здешних местах в качестве мощного средства, способствующего росту волос.

Настоящим героем праздника был, впрочем, Бром Бонс, прибывший на «посиделки» верхом на своем любимом Черте – существе, которое, подобно своему хозяину, было воплощением бешеной силы и озорства и на котором, кроме Брома, никто не мог усидеть. К слову сказать, этот малый предпочитал норовистых коней, любивших выкидывать штуки и подвергать всадника постоянной опасности свернуть себе шею; послушную, хорошо выезженную лошадь он считал животным, недостойным парня с характером.

Тщетно было бы пытаться обрисовать мир чудес, открывшийся восхищенным взорам моего героя, едва только он вошел в роскошную гостиную дома ван Тасселей. Его восхитил не столько даже выводок пышущих здоровьем девиц и обворожительная выставка «белого и румяного», сколько очарование настоящего голландского праздничного стола, и к тому же – в деревне, и к тому же – в пору осеннего изобилия. Боже мой, чего, чего там только не было! Сколько блюд с пирожными всевозможных, не поддающихся описанию разновидностей, известных лишь опытным голландским хозяйкам! Там были знаменитые ореховые пирожные, тающие во рту «оли коек»¹⁶, рассыпчатые, хрустящие под зубами нежные пончики; были пирожные из сладкого и пирожные из слоеного теста, пирожные имбирные, пирожные медовые – вся пирожная порода вообще. Там были также яблочные пироги, пироги с персиком и пироги с тыквой; нарезанная ветчина и копченая говядина; сверх того, чудесные лакомства из сливового варенья, персиков, груш и айвы, не говоря уже о тушеной рыбе и жареных цыплятах, о мисках с молоком и со сливками. Все это было расставлено вперемежку, приблизительно так, как я описал, по соседству с фамильным чайником, испускавшим клубы пара посередине стола, – да будет благословенно столь роскошное зрелище! У меня не хватает ни времени, ни сил, чтобы достойным образом описать это пиршество, а кроме того, мне не терпится продолжать мою повесть. К счастью, Икабод Крейн, в отличие от своего историка, никуда не спешил и мог отдать должное каждому лакомству.

Он был существом добрым и признательным; сердце его становилось восторженнее, по мере того как чрево наполнялось вкусной едой; она поднимала его настроение, подобно тому

¹⁶ Оли коек – разновидность пирога (голл.).

как у многих оно поднимается от возлияний. Уплетая за обе щеки, он разглядывал своими широко раскрытыми глазами все окружающее и улыбался при мысли, что в один прекрасный день он, Икабод, может стать хозяином всей этой невообразимой роскоши, всех этих богатств. Он предавался мечтам и представлял себе, как вскоре он скажет «прости» старому неприютному школьному зданию, как щелкнет пальцами перед носом Ганса ван Риппера или еще кого-нибудь из своих жадных, смотрящих в рот квартирных хозяев, как прогонит прочь от дверей незадачливого странствующего учителя, когда тот дерзнет обратиться к нему со словом «собрат».

Старый Балт ван Тассель обходил гостей с лицом, расплывшимся от удовольствия и доброго настроения, круглым и веселым, как полная луна. Любезности гостеприимного хозяина были кратки, но выразительны и сводились к рукопожатию, похлопыванию по плечу, раскати-стому громкому смеху и настойчивому совету «приналежь и позаботиться о себе».

Но вот звуки музыки из комнаты для гостей послужили приглашением к танцам. Обязанности музыканта исполнял старый седоволосый негр, уже более полувека представлявший в своем лице бродячий оркестр округи. Его инструмент был так же стар и так же разбит, как он сам. По большей части он пиликал, пользуясь двумя или тремя струнами, но зато каждый взмах смычка сопровождал движением головы, наклоняясь почти до самого пола и отбивая ногою такт всякий раз, когда к танцам присоединялась новая пара.

Икабод в такой же мере гордился умением танцевать, как и своим вокальным талантом. Ни один мускул, ни одна жилка не оставались при этом без дела; наблюдая его вихляющуюся в вихре движений фигуру, его ноги, топочущие по всей комнате, вы могли бы подумать, что пред вами – сам святой Витт, благословенный покровитель пляски и пляшущих. Он приводил в восторг многочисленных негров всех возрастов и размеров, сбегавшихся с фермы и из окрестностей; они стояли, составив пирамиду из блестящих, сияющих лиц у каждого окна и у каждой двери, и с восхищением глазели, вращая белками, на эту сцену веселья, обнажая ряды белых, точно слоновая кость, зубов и разеваая рты от уха до уха. И он, так беспощадно поров-ший своих сорванцов, – разве мог он испытывать сейчас какие-нибудь иные чувства, кроме подъема и радости! Ведь дама его сердца была рядом с ним, была его неизменной парой в танцах; в ответ на его влюбленные взгляды на ее устах появлялась очаровательная улыбка, в то время как Бром Бонс, стораая от любви и от ревности, погруженный в печальные размышления, прятался в одном из углов гостиной.

По окончании танцев Икабод примкнул к кружку мудрецов, которые вместе с Балтом ван Тасселем устроились на веранде, курили, вели беседу о былых временах и рассказывали длинные-предлинные истории о войне.

Во времена, о которых идет речь в нашем повествовании, район его действия был одним из тех счастливых углов, где кишмя кишели великие люди и хроники минувших событий. В дни войны британские и американские укрепленные линии проходили неподалеку отсюда, так что область эта сделалась ареной мародерства и бесчинств, чинимых дезертирами, ковбоями и пограничными рыцарями всякого рода. С той поры протекло как раз столько времени, сколько требуется для того, чтобы всякий рассказчик мог облечь свой рассказ соответствующей долей вымысла и в подернутых дымкой тумана воспоминаниях произвести самого себя в герои, приписав себе всевозможные подвиги.

Здесь можно было услышать историю Дофью Мартлинга, огромного голландца с иссиня-черною бородой, палившего с земляного бруствера из старой железной девятифунтовой пушки; он захватил бы британский фрегат, да орудие его разорвалось на шестом выстреле. Здесь присутствовал также один пожилой джентльмен – пусть он останется безымянным, ибо это слишком богатый мингер, чтобы называть его имя по такому пустячному поводу, – который, искусно фехтуя, в сражении при Уайтплейнз отразил своей короткою шпагой мушкетную пулю, причем – какие же тут возможны сомнения? – он явственно слышал, как она просвистела

возле клинка, и видел, как блеснула, ударившись об эфес, в подтверждение чего он всегда готов был показывать эту самую шпагу с немного помятым эфесом. Здесь присутствовали и еще многие, совершившие на полях битв не менее доблестные деяния, и каждый из них пребывал в глубочайшей уверенности, что счастливый исход войны – в значительной мере дело и его рук.

Но все это было ничто по сравнению с последовавшими затем рассказами о духах и видениях. Эта местность, как я указывал выше, богата драгоценными сказаниями подобного рода. Ведь местные легенды и суеверия лучше всего разрастаются и расцветают в таких захолустных, давно заселенных укромных углях и, напротив, бывают затоптаны под ногами вечно снующих толп, составляющих большинство сельского населения нашей страны. Кроме того, наши деревни – места явно неподходящие для духов и призраков потому, что не успеют эти последние погрузиться в свой первый сон и повернуться в могиле, как их живые приятели перекочевывают на новое место, так что, выходя в ночной обход, они не находят больше знакомых, которых могли бы навестить. Этим, возможно, и объясняется то обстоятельство, что мы исключительно редко слышим о духах где-нибудь в другом месте, кроме старинных голландских поселений.

Однако непосредственная причина отмечаемого в этих местах преобладания сверхъестественных рассказов кроется, несомненно, в близости Сонной Лощины. Ее влияние разносится как бы вместе с воздухом, притекающим из этой зачарованной стороны; он распространяет атмосферу грез и видений, заражающую окрестности. Несколько обитателей Сонной Лощины, оказавшихся среди гостей Балта ван Тасселя, не замедлили, по обыкновению, угостить присутствующих жуткими и повергающими в изумление легендами. Было рассказано немало страшных историй о похоронных процессиях и душераздирающих воплях у большого дерева, близ которого был схвачен несчастный майор Андре и которое росло невдалеке от фермы ван Тасселя. Не была забыта и женщина в белом, которую не раз видели в мрачном овраге у Вороньей Скалы, где она когда-то погибла в снегу, и ее крики доносились оттуда в зимние ночи перед метелью. Основная масса рассказов была посвящена, однако, излюбленному призраку Сонной Лощины – Всаднику без головы, – который имел обыкновение рыскать в этих местах и которого не раз в последнее время здесь замечали; говорят, будто он каждую ночь треножит своего коня и оставляет его между могил на кладбище, возле церкви.

Церковь, благодаря своему уединенному положению, уже давно превратилась в излюбленное пристанище мятущихся духов. Она стоит на невысоком бугре, окруженном акациями и могучими вязами; ее опрятно выбеленные стены, выделяясь на темном пустынном фоне, сияют той скромною чистотой, которая заставляет вспомнить о христианском смирении и целомудрии. Пологий спуск ведет от нее к серебряной полоске воды, окаймленной высокими раскидистыми деревьями, сквозь которые можно увидеть голубые холмы Гудзона. Глядя на заросший травой погост при церкви, где так безмятежно спят солнечные лучи, всякий решил бы, что перед ним надежное убежище и что здесь мертвые вовеки пребудут в мире и тишине. По одну сторону церкви тянется обширная, заросшая лесом ложбина; вдоль нее, среди обломков скал и поваленных бурей деревьев, ревет и неистовствует быстрый поток. Невдалеке, там, где поток достигает значительной глубины, его берега соединялись когда-то деревянным мостом. Дорога, что вела к этому мосту, да и самый мост были скрыты в густой тени разросшихся могучих деревьев, и даже в полдень тут царил полумрак, стгушавшийся ночью в кромешную тьму. Такого было одно из самых любимых убежищ Всадника без головы, здесь его чаще всего встречали. Кто-то рассказал историю, приключившуюся со старым упрямым Броувером, начисто отрицавшим существование духов; и все же ему пришлось столкнуться с призрачным всадником, возвращавшимся после ночной вылазки к себе на погост, и он вынужден был сесть на коня позади гессенца. Они помчались, не обращая внимания на кусты и на заросли, по холмам и болотам, пока не долетели до моста, и тут Всадник без головы обернулся внезапно скелетом,

сбросил старого Броувера в ревуший поток и, сопровождаемый гулом громовых раскатов, вихрем понесся по верхушкам деревьев и в мгновение ока бесследно исчез.

Эта история немедленно повлекла за собою рассказ о еще более поразительном случае, происшедшем не с кем иным, как с самим Бромом Бонсом, по словам которого гессенец, оказывается, – страстный наездник. Бром утверждал, что когда он возвращался однажды ночью из соседней деревни Синг-Синг, его нагнал полуночный всадник; Бром предложил ему поместиться в скачке, обещая, в случае поражения, поднести «безголовому» чашу отменного пунша. Он, конечно, одержал бы победу, поскольку Черт, пока дорога шла по лощине, все время оставлял призрачного коня позади, но едва только достигли они церковного моста, как гессенец, вырвавшись вперед, рассыпался огненной вспышкой и стинул.

Эти рассказы, сообщаемые глухим ровным голосом, каким обычно беседуют в темноте, а также лица слушателей, время от времени освещаемые внезапно вспыхивающим огоньком трубки, глубоко запечатлелись в душе Икабода. Он сторицею отплатил за доставленное ему наслаждение, огласив пространные отрывки из своего бесценного Коттона Мезера и присовокупив к ним отчет о поразительных происшествиях, имевших место на его родине в Коннектикуте, и о тех жутких призраках, с которыми ему пришлось повстречаться во время ночных хождений по окрестностям Сонной Лощины.

Праздник мало-помалу стихал. Пожилые фермеры, собрав свои семьи в повозки, тронулись по домам, и некоторое время на дорогах долины и на далеких холмах слышалось громахание колес. Некоторые из девиц уселись на крупы коней позади своих милых; их веселый смех вместе с цоканьем копыт, отдаваясь эхом в безмолвных лесах, делался все глуше и глуше и, наконец, замолк где-то вдали. Там, где еще недавно царили шум и веселье, стало пустынно и тихо; медлил один Икабод, в соответствии с обычаем местных влюбленных желавший провести с богатой наследницей положенный *tête-à-tête*¹⁷. Теперь, больше чем когда бы то ни было, он верил в успех! Что произошло у них во время свидания, сказать не берусь – мне это неизвестно. Впрочем, боюсь, что приключилось нечто неладное: во всяком случае, пробыв у Катрины очень недолго, он ушел от нее в полном унынии. Ах, женщины, женщины! Быть может, наша девица позволила себе какую-нибудь выходку, достойную завзятой кокетки. Кто знает, не притворилась ли она, что отдает предпочтение бедному педагогу, для того, чтобы вернее завлечь его врага и соперника. То известно лишь небу; что до меня... то я ничего не знаю. Достаточно сказать, что Икабод уходил прочь с таким видом, точно явился сюда, чтобы похитить кур из курятника, а не сердце хорошенькой женщины. Не обращая внимания на окружающие богатства, которые прежде так часто привлекали его жадные взоры, он направился прямо в конюшню и, отпустив своему скакуну несколько здоровенных тумачков и затрещин, весьма неучтиво заставил его покинуть уютное, теплое стойло, где тот успел было сладко заснуть и увидеть во сне горы ячменя, овса и долины, поросшие от края до края клевером и тимopheевкой.

Когда Икабод с тяжелым сердцем и поникшей душой тронулся, наконец, домой и направил коня вдоль высоких холмов, которые тянутся над Тарри-Тауном и которые он в таком радостном настроении пересекал, едучи сюда в гости, наступил излюбленный час духов и привидений, час столь же мрачный, как и сам Икабод. Далеко внизу простиралась темная, едва различимая гладь Таппан-Зее; кое-где у берегов виднелись маленькие суденышки с высокими мачтами, мирно качавшиеся на якоре. В мертвом безмолвии полуночи до него доносился даже лай собаки с противоположного берега Гудзона, но звук был так слаб и нечеток, что порождал в нем лишь представление о том, как велико расстояние до этого верного спутника человека. Иногда откуда-то издалека, с какой-нибудь затерянной среди холмов одинокой фермы, слышалось протяжное пение нечаянно проснувшегося петуха, но и это казалось ему как бы смутным отзвуком неведомого мира. Он не ощущал близ себя никаких признаков жизни, кроме слу-

¹⁷ Свидание наедине (фр.).

чайного сонного и меланхоличного стрекотанья сверчка или порою гортанного кваканья жабы, исходившего из расположенного невядалеке болота, и казалось, будто она квакает и кряхтит оттого, что приняла во сне неудобное положение и теперь внезапно перевернулась на другой бок.

Все рассказы о духах и привидениях, слышанные Икабодом в течение вечера, теснились теперь в его памяти. Ночь становилась все темней и темней; звезды, казалось, погрузились в бездонную глубину неба, и несущиеся в вышине облака время от времени скрывали их из виду. Икабод никогда еще не чувствовал себя таким одиноким, таким удрученным. К тому же он приближался к месту, где разыгралось столько историй с участием призраков. Посреди дороги росло огромное тюльпанное дерево, словно гигант возвышавшееся над остальными своими собратьями и служившее местным жителям чем-то вроде дорожной вехи. Его фантастически искривленные суковатые ветви, настолько толстые, что могли бы сойти за ствол дерева средних размеров, спускались почти до самой земли и затем снова шли вверх. Это дерево было связано с трагической историей бедняги Андре, захваченного тут в плен, вследствие чего его повсеместно называли не иначе, как деревом майора Андре. Простой народ взирал на него с некоторым благоговением, смешанным с суеверным страхом, что находит свое объяснение, с одной стороны, в сочувствии к судьбе его несчастного тезки, а с другой – в толках о странных видениях и скорбных стенаниях, связанных с этим деревом.

Приближаясь к жуткому дереву, Икабод стал было насвистывать; ему показалось, что на его свист кто-то ответил, но то был всего-навсего порыв резкого ветра, пронесшегося среди засохших ветвей. Подъехав ближе, он увидел, что посреди дерева висит что-то белое; он остановился и замолчал; присмотревшись, он обнаружил, что это не что иное, как место, куда ударила молния, содравшая тут кору. Вдруг ему послышался стон; зубы его застучали, колени начали выстукивать барабанную дробь по седлу, но оказалось, что это раскачиваемые ветром крупные ветви сталкиваются и трутся одна о другую. Он благополучно миновал дерево, но его подстерегали другие напасти.

Примерно в двухстах ярдах от дерева дорогу пересекал маленький ручеек, исчезающий в заболоченном и заросшем овраге, известном под именем топи Вилея. Несколько положенных в ряд нетесаных бревен – таков был мост через этот ручей. По одну сторону дороги, там, где ручей сворачивал в лес, небольшая рощица из густо перевитых и оплетенных диким виноградом дубов и каштанов окутывала его полумраком: тут было темно, как в пещере. Переправа по мосту представляла собой серьезное испытание. Именно здесь, на этом же месте, был схвачен несчастный Андре, и, скрытые чащей этих каштанов и дикого винограда, притаились в засаде напавшие на него дюжие йомены. С той поры считалось, что ручей пребывает во власти колдовских чар и что в зарослях водится нечистая сила. Нетрудно себе представить, как трясся от страха какой-нибудь школьник, которому случалось проходить в одиночестве по мосту после наступления темноты.

Подъезжая к ручью, Икабод почувствовал, что сердце его бешено заколотилось; он собрался тем не менее с духом, наградил свою лошадь десятком ударов под ребра и попытался вихрем пронестись через мост; но вместо того чтобы устремиться вперед, упрямое животное метнулось в сторону и уперлось в придорожную изгородь. Икабод – чем дольше длилась задержка, тем сильнее одолевала его страх – силился повернуть коня в нужную сторону, яростно бил его ногою по животу и дергал поводья: все было тщетно. Конь, правда, в конце концов тронулся с места, но лишь для того, чтобы понести в противоположную сторону, в заросли терновника и ольшаника. Наш педагог угощал бедного старого коня плеткою и ударами пятки под тощие ребра; втягивая в себя воздух и фыркая, Порох помчался вперед, но у самого моста внезапно остановился, едва не перебросив седока через голову. В это мгновение настороженный слух Икабода уловил сбоку от моста характерные при движении по топким местам глухие хлопаяющие звуки. В окутанной мраком роще, на берегу ручья, он заметил высившуюся

бесформенную громаду. Громада не двигалась с места, но в ночном мраке казалось, что она сжимается и съеживается, словно гигантское чудовище, готовое прыгнуть на путника.

У бедняги учителя от страха дыбом поднялись волосы. Что ему делать? Повернуть назад и спастись бегством – слишком поздно, да и мог ли он ускользнуть от привидения или призрака – если это и впрямь был призрак, которому нипочем носиться на крыльях ветра? Собрав всю свою решимость, он с напускной храбростью, волнуясь и задыхаясь, спросил: «Кто там?» Никто не ответил. Икабод повторил свой вопрос еще более взволнованным голосом и снова не дождался ответа. Он опять принялся колотить плеткою бока упрямого Пороха и, закрыв глаза, в пламенном порыве веры затянул свои псалмы. Тогда черная тень, поселившая в нем тревогу и ужас, пришла в движение, вскарабкалась по откосу, прыгнула и в один миг очутилась посредине дороги. Хотя ночь была пасмурная и темная, теперь до некоторой степени оказалось возможным разглядеть очертания ужасного незнакомца. То был всадник богатырского сложения на столь же могучем черном коне. Он не проявлял ни враждебности, ни общительности – он держался поодаль, чуть-чуть подвигаясь вперед по дороге, с той ее стороны, с которой старый Порох, преодолевший, наконец, свой страх и упрямство, был слеп.

Икабод, не находивший ни малейшего удовольствия в обществе загадочного полуночного спутника, вспомнил о том, что произошло между Бромом Бонсом и гессенцем, и погнал коня, надеясь оставить неизвестного позади. Последний, однако, вел свою лошадь на равном аллюре. Тогда Икабод натянул поводья и пустил коня шагом, рассчитывая таким способом отстать; то же сделал и его спутник. Икабод чувствовал, что сердце его сжимается и замирает; он попытался снова затянуть псалмы, но его сухой, воспаленный язык прилип к нёбу; ему не удалось выдать из себя ни единой строфы. В мрачном и упорном молчании неотступно следовавшего за ним ночного всадника было что-то таинственное и грозное. Вскоре его страшные предчувствия сбылись. Дорога пошла на подъем, отчего фигура его спутника, закутанного в плащ великана, более или менее рельефно обрисовалась на фоне ночного неба, – и Икабод обомлел от ужаса, обнаружив, что у всадника отсутствует голова. Охвативший его ужас усилился еще больше, когда он заметил, что голова, которой полагается быть на плечах, болтается у луки его седла. Теперь страх Икабода сменился отчаянием; он обрушил на бедного Пороха град ударов, смутно надеясь, что внезапным рывком вперед сможет обогнать своего спутника, но призрак тоже погнал коня во весь дух. Сломая голову, не разбирая пути, куда глаза глядят, неслись они в ночном мраке, так что из-под конских копыт сыпались камни и искры. Пригнувшись своим длинным тощим телом к голове лошади, Икабод мчался вперед, и полы его ветхого сюртука трепетали и развеивались в порывах встречного ветра.

Они достигли, наконец, того места, где дорога сворачивает к Сонной Лощине; вместо того чтобы устремиться прямо к ней, Порох свернул в противоположную сторону и понесся сломя голову вниз по дороге, уходившей налево. Эта дорога ведет через песчаный овраг, почти на четверть мили поросший деревьями, пересекает пресловутый, прославленный местными легендами мост и, миновав его, поднимается на зеленый холм, где стоит белая церковь.

Теперь из-за неудержимого страха, во власти которого оказался конь, нашему незадачливому наезднику удалось добиться значительного преимущества в бешеной скачке, но как раз посредине оврага подпруга ослабла, и педагог почувствовал, как седло под ним ерзает и сползает. Он ухватился за луку, стремясь удержать седло, но ему это не удалось; он вовремя уцепился за шею старого Пороха и благодаря этому спасся от неминуемой гибели, ибо в то же мгновение седло свалилось на землю, и он слышал, как оно затрещало под копытами несущегося вдогонку коня. Он содрогнулся при мысли о гневе и ярости Ганса ван Риппера – ведь это его праздничное седло! – но теперь ему было не до того: призрак скакал у самого крупного старого Пороха, и, будучи недостаточно ловким наездником, Икабод принужден был тратить немало усилий, чтобы удержаться на лошади; сползая с одной стороны на другую и с силою

ударяясь об острые выступы спинного хребта своей клячи, Икабод всерьез опасался, как бы конь не разрезал его пополам.

Просветы между деревьями окрылили его надеждою, что церковный мост должен быть где-то уже совсем близко. Зыбкое отражение серебряной звездочки в водах потока указало ему, что он не ошибся. Он увидел стены церкви, смутно белевшие среди деревьев. Ему вспомнилось, что тут-то и исчез призрак, с которым состязался Бром Бонс. «Если я достигну моста, – мелькнуло у него в голове, – я спасен». В то же мгновение он услышал позади себя храп и фыркание черного скакуна; ему показалось даже, что он ощущает на себе его горячее, порывистое дыхание. Еще один судорожный удар под ребра – и старый Порох влетел на мост, прогромыхал копытами по гулким доскам настила и достиг противоположного берега. Икабод решился, наконец, оглянуться и посмотреть, не превратился ли его преследователь – как ему и подобает по штату – в огненную вспышку или в клубы серного дыма. И вдруг он увидел, что призрак приподнимается в стременах, размахивается и бросает в него своей головой. Икабод попытался увернуться от этого жуткого метательного снаряда, но опоздал. Голова со страшным треском ударилась о его череп; потеряв сознание, он растянулся в пыли. Порох, черный скакун и призрак пронеслись мимо него, точно вихрь.

На следующее утро старый конь, без седла, с волочащимися под ногами поводьями, мирно пощипывал травку у ворот фермы своего хозяина. К завтраку Икабод не явился; наступил час обеда. Икабод все не было. Школьники, собравшись у школы, праздно слонялись возле ручья; их учителя нет как нет. Ганс ван Риппер начал испытывать беспокойство: его тревожила судьба бедного Икабода, а равным образом и собственного седла. Были произведены поиски, и после долгих усилий напали на след злополучного педагога. На дороге, что ведет к церкви, было найдено сломанное, втоптанное в грязь седло Ганса ван Риппера; следы конских копыт, оставивших на дороге резкие отпечатки – кони, очевидно, мчались с бешеной быстротой, – привели к мосту, за которым близ ручья, в том месте, где русло его становится шире, а вода чернее и глубже, и была найдена шляпа несчастного Икабода и рядом с ней – разбитая вдребезги тыква.

Обшарили также ручей, но тела учителя нигде не было. Ганс ван Риппер, которому в качестве душеприказчика надлежало распорядиться его имуществом, подверг обследованию оставшийся после учителя узелок, в котором заключалось все его достояние. Там были две с половиной рубашки, два шейных платка, пара-другая шерстяных носков, старые плисовые штаны, ржавая бритва, томик нот с псалмами (весь в так называемых «ослиных ушах», то есть с загнутыми страницами) и сломанный камертон. Что касается книг и мебели, находившихся в здании школы, то они принадлежали общине, за исключением «Истории колдовства в Новой Англии» Коттона Мезера, альманаха «Новая Англия» и книжки, заключавшей в себе толкования снов и примет; в этой книге, кстати сказать, находился большой лист бумаги, испещренный бесчисленными помарками, свидетельствовавшими о бесплодных попытках сочинить стихи в честь наследницы Балта ван Тасселя. Все эти колдовские книги и поэтические каракули были осуждены Гансом ван Риппером на немедленное сожжение, причем он и объявил, что никогда не ожидал ничего путного от чтения и бумагомарания. Что касается денег, то за день или два до роковой ночи Икабод успел получить жалованье за целый квартал, и в момент исчезновения они должны были находиться при нем. Таинственное происшествие породило в ближайшее воскресенье, во время обедни, немало толков среди прихожан. Кучки зевак и болтунов собирались на кладбище, на мосту и в том месте, где были найдены шляпа и тыква. Из уст в уста передавались истории Броувера, Брома Бонса и великое множество других в том же роде. Внимательно рассмотрев все эти рассказы и сопоставив их с обстоятельствами настоящего происшествия, собеседники, покачивая глубокомысленно головами, пришли к выводу, что Икабод унесен Конным гессенцем. Но поскольку он был холостяк и никому ни гроша не дол-

жен, никто особенно не ломал себе головы и не думал о нем, школа была переведена в другой конец Сонной Лощины, и новый педагог воцарился на кафедре Икабода.

Один старый фермер, через несколько лет ездивший в Нью-Йорк, тот самый, который рассказал мне эту историю с привидениями, распространил известие, что Икабод Крейн жив и здоров, что он покинул эти места отчасти из страха перед призраком и Гансом ван Риппером, а отчасти и вследствие нанесенной ему обиды – как-никак он неожиданно был отставлен богатой наследницей! Икабод переселился в противоположный конец страны, учительствовал, одновременно изучал право, был допущен к адвокатуре, стал политиком, удостоился избрания в депутаты, писал в газетах и под конец сделался мировым судьей. Что касается Брома Бонса, то вскоре после исчезновения своего незадачливого соперника он с триумфом повел под венец цветущую и пышущую здоровьем Катрину; было замечено, что всякий раз, как рассказывалась история Икабода, на его лице появлялось лукавое выражение, а при упоминании о большой тыкве он неизменно начинал заразительно и громко смеяться, что и подало основание предполагать, будто он знает больше, чем говорит.

Деревенские кумушки, являющиеся, как известно, наилучшими судьями в подобных делах, считают и по сей час, что Икабод был унесен с бренной земли каким-то сверхъестественным способом; рассказывать об этом событии стало излюбленным занятием у зимнего камелька. Мост еще больше, чем прежде, внушает местным жителям суеверные страхи, так что, быть может, именно по этой причине дорога через овраг оказалась в последние годы заброшенной, и теперь ездят в церковь мимо мельничного пруда. Покинутое школьное здание вскоре пришло в упадок, и есть сведения, что в нем поселился дух злосчастного педагога. Крестьянскому парню, возвращавшемуся с пахоты, в тихие летние вечера кажется, что он слышит где-то в отдалении голос и что среди безмятежной тишины Сонной Лощины разносятся тоскливые мелодии псалмов.

Из книги «Брейсбридж-Холл»

Дом с привидениями

Из бумаг покойного Дидриха Никербокера

Прежде почти в каждом населенном пункте существовал такой дом. Если дом был расположен в унылой местности или выстроен в старинном романтическом стиле, если в его стенах случилось какое-нибудь необычайное происшествие или убийство, внезапная смерть или что-либо в этом роде, можете не сомневаться, что такой дом становился «особым» домом и впоследствии приобретал славу обители призраков.

Борн. «Древности»

В окрестностях старинного городка Манхеттена еще не так давно существовало ветхое здание, которое в дни моего детства называли «Дом с привидениями». Это здание было одним из немногих памятников архитектуры первых голландских поселенцев и в свое время, надо думать, представляло собою весьма порядочный дом. Оно состояло из центральной части и двух боковых крыльев, фронтоны которых ступеньками подымались вверх. Построен был этот дом частью из дерева, частью из мелких голландских кирпичей, вывозимых зажиточными колонистами из Голландии, пока, наконец, их не осенила догадка, что кирпичи, в сущности, можно выделывать где угодно. «Дом с привидениями» стоял вдалеке от дороги, среди обширного поля; к нему вела аллея акаций, из которых иные были расщеплены молнией, а две-три повалены бурей. В разных концах поля росло несколько яблонь; тут же можно было обнаружить и следы огорода; но изгородь развалилась, культурные растения одичали настолько, что немногим отличались от сорняков, и между ними кое-где виднелся заросший, взлохмаченный куст розы или высокий стебель подсолнечника, поднимавшийся над колючим терновником и понуро опускавший голову, точно он оплакивал окружающее его запустение. Часть крыши старого здания провалилась, окна были выбиты, филенки дверей проломаны и заколочены досками; на обоих концах дома два ржавых флюгерных петушка немилосердно визжали и скрежетали, поворачиваясь на спицах, и тем не менее всегда неверно указывали направление ветра. Если даже при солнце это место поражало заброшенностью и запустением, то нет ничего удивительного, что завывания ветра вокруг ветхого, наполовину развалившегося дома, скрежет и визг флюгерных петушков, хлопанье и грохот сорванных с петель ставней, когда разыгрывалось ненастье, нагоняли такую жуть и тоску, что всем окрестным жителям дом и прилегавший к нему участок земли внушали неодолимый ужас. Носилась молва, будто именно здесь происходят шабаши призраков. Я и сейчас еще отчетливо помню облик старого здания. Сколько раз слонялся я возле него с моими приятелями, отпетыми сорванцами и лоботрясами, когда по воскресеньям и в праздники мы пускались после обеда в пиратские набеги на пригородные сады! У самого дома росло великолепное дерево: ветви его гнулись под тяжестью чудесных, полных соблазна плодов, но оно было на заклятой земле; это место, как повествовали бесчисленные рассказы, пребывало во власти колдовских сил – и мы не решались к нему подступить. Иногда мы все же набирались отваги и скопом, все вместе, косясь на старое здание и со страхом поглядывая на его зияющие окна, приближались к этому дереву Гесперид¹⁸, но когда мы уже

¹⁸ Геспериды, три дочери Атланта, как рассказывает древнегреческий миф, владели садом, в котором росли яблони с

готовились наброситься на добычу, кто-нибудь из нашей ватаги вдруг неожиданно вскрикивал или нас приводил в смятение какой-нибудь случайно возникший шум, и, охваченные паническим страхом, мы пускались во все лопатки. И неслись сломя голову и не останавливаясь, пока не выбирались, наконец, на дорогу. И каких страстей не рассказывали мы о загадочных криках и столах, раздающихся внутри дома, об отталкивающем, страшном лице, которое, согласно поверьям, иногда показывается в одном из окон! Мало-помалу мы потеряли охоту посещать это пустынное место; мы предпочитали стоять где-нибудь поодаль и забрасывать дом градом камней; звук, который они издавали, ударяясь о крышу, или порою звон выбитого случайно уцелевшего обломка стекла доставляли нам жуткое, смешанное с ужасом наслаждение.

Когда и кем был выстроен этот дом, покрыто мраком, окутывающим зарю истории нашей провинции, иначе говоря, тот период, когда она находилась под властью «их светлостей Генеральных Штатов Голландии». Некоторые считают, что в былое время он служил сельской резиденцией Вильгельма Кифта, по прозванию Упрямец, одного из голландских губернаторов Нового Амстердама¹⁹. Другие, однако, настаивают на том, что его построил один морской офицер, служивший под начальством ван Тромпа²⁰; будучи обойден производством в чинах, он счел себя обиженным, покинул службу, сделался с досады философом и, дабы иметь возможность жить по своему вкусу и усмотрению и презирать всех и все, перебрался со всеми своими пожитками в эти края. Вопрос о том, что именно явилось причиной заброшенности дома и примыкающего к нему участка земли, тоже порождает жаркие споры; одни уверяли, будто из-за этой мызы в свое время возникла тяжба, судебные издержки которой превысили стоимость самой мызы, между тем как наиболее распространенная и, бесспорно, достоверная версия утверждала, будто в доме завелась нечистая сила и от нее никому не стало покоя. И в самом деле, последнее обстоятельство почти несомненно явилось истинною причиною запустения и разрушения дома: недаром же столько историй в один голос повторяют одно и то же, недаром любая старуха в округе может выложить во всякое время не менее двух десятков подобных рассказов. Невдалеке от мызы жил одинокий негр, старый, седой скаред, у которого была в запасе целая куча таких историй; многое из того, что он рассказывал, произошло лично с ним. Я и мои школьные товарищи не раз забегали к нему на участок, чтобы послушать его болтовню. Старик обитал в жалкой лачуге, стоявшей среди крошечного клочка земли, засаженного картофелем и кукурузой и подаренного ему вместе с волею его бывшим хозяином. Он подходил, бывало, к нам с мотыгой в руке, мы усаживались, словно стая ласточек, примостившись на жердях изгороди, и в летние сумерки, когда все окутывают мягкие тени, затаив дыхание слушали его страшные рассказы, а он при этом так жутко вращал белками, нас охватывал такой ужас, что, возвращаясь в темноте по домам, мы пугались нередко своих же шагов. Бедный старый Помпей! Прошли годы и годы с тех пор, как он умер, спеша составить компанию тем самым духам, о которых так любил поболтать. Его схоронили на картофельном поле, по его могиле вскоре прошелся плуг, сровнявший ее с землей, и никто на всем свете не вспоминал больше о седом старом негре.

Спустя несколько лет, сделавшись тем, что называют обычно «молодым человеком», я случайно попал снова в эти места и, бродя по окрестностям, наткнулся на кучу зевак, глазевших на череп, только что выброшенный из земли лемехом плуга. Они, конечно, тут же решили, что перед ними – кости «убитого человека», и принялись ворошить груды обычных историй о «Доме с привидениями». Я сразу понял однако, что это останки бедняги Помпея, но прикусил язык, ибо, уважая чужое удовольствие, не люблю портить рассказ о духах или убийстве.

золотыми яблоками. Сад охранялся столбавым драконом. Проникнуть в сад было невозможно, и этот подвиг оказался под силу лишь одному Гераклу. Отсюда выражение – дерево Гесперид.

¹⁹ Так первоначально назывался нынешний Нью-Йорк.

²⁰ Мартин ван Тромп (1597–1653) – известный голландский моряк.

Впрочем, я принял меры, чтобы кости моего давнего приятеля были вторично преданы земле и чтобы на этот раз ничто больше не нарушило их покоя.

Пока я сидел на траве и наблюдал за их погребением, между мною и одним пожилым джентльменом завязалась весьма занимательная и продолжительная беседа. Джентльмен этот, проживавший в здешних местах, носил имя Джон Джоссе Вандермоер и был любезным, обожающим поговорить человеком, вся жизнь которого прошла либо в выслушивании, либо в сообщении другим местных сплетен. Он вспомнил старого Помпея и его рассказы о «Доме с привидениями»; он заявил также, что может поведать еще более загадочную и таинственную историю, чем те, что рассказывал когда-то Помпей, и когда я выразил желание прослушать ее, присел на траву рядом со мной и сообщил приводимую ниже повесть. Я постарался передать ее по возможности дословно, но с того времени протекли годы, я стал стар, и память моя теперь уж не та. Я не могу поэтому ручаться за слог, но в отношении фактов я неизменно проявлял исключительную точность и щепетильность.

Дольф Хейлигер

Беру весь Килберн – город, где живу,
В свидетели, что был рожден
Застенчивым, к стыдливости приучен.
Пусть пса мне приведут, который мог бы
Сказать, что бит он мною без вины,
Пусть кот на Библии присягу даст
Что хвост ему хотел я подпалить,
Обоим я по кроне уплачу!

«Сказка о бочке»

В начальный период истории провинции Нью-Йорк, в те времена, когда она стенала под гнетом тиранического управления английского губернатора лорда Корнбери, который, всячески притесняя голландское население, дошел до того, что не разрешал ни священнику, ни школьному учителю преподавать на родном языке без особого на то разрешения, – в эти самые времена в небольшом старинном веселом городе, носящем имя Манхеттен, проживала некая славная женщина и отличная мать, известная всем как «хозяйка Хейлигер». Она была вдовой голландского флотского капитана, безвременно умершего от горячки – последствия его чрезмерных трудов и столь же чрезмерного аппетита – в те тревожные дни 1705 года, когда городу грозила опасность со стороны небольшого французского капера и горожане, ударившись в панику, принялись поспешно возводить укрепления. Покойный оставил ее с очень скудными средствами и сыном-малюткою на руках; прочие дети этой четы умерли во младенчестве. Почтенная женщина едва сводила концы с концами, так что ей приходилось прилагать немало усилий, дабы внешне все обстояло благопристойно. Впрочем, поскольку ее супруг пал жертвою рвения к общему благу, все единодушно решили, что «для вдовы надо бы что-то сделать», и в надежде на это «что-то», она более или менее сносно просуществовала несколько лет: все ей сочувствовали, все отзывались о ней с поразительной теплотой, и это, надо думать, заменяло ей в известной степени помощь.

Она обитала в маленьком домике на маленькой улочке, называвшейся Гарден-стрит – возможно, по той причине, что некогда здесь был какой-нибудь сад. И так как с каждым годом ее нужда становилась острее и острее, а разговоры о том, что «для нее надо бы что-то сделать», все глуше и глуше, ей пришлось под конец возложить заботу об этом «что-то» на себя самое и призадуматься, как в добавление к своим скудным средствам добыть новый источник дохода, сохранив свою независимость, к которой она относилась чрезвычайно ревниво.

Проживая в торговом городе, госпожа Хейлигер прониклась в некоторой мере царившим в нем духом и решила попытать счастья в шумной лотерее коммерции. В один прекрасный день, на удивление всей улице, в ее окне появилась целая шеренга пряничных королей и пряничных королев, которые, как полагается царским особам, стояли, разумеется, подбоченясь. Тут были также в изрядном количестве большие, как правило – увечные, стопки, одни с конфетами разного рода, другие – с детскими игральными шариками; кроме того, здесь можно было увидеть всевозможные пирожные, ячменный сахар, голландских кукол и деревянных лошадок; там и сям виднелись детские книжки в золоченых переплетах и мотки пряжи, а сверху на бечевке свешивались фунтовые пачки свечей. У дверей дома сидела обычно кошка почтенной госпожи Хейлигер – в высшей степени благопристойное существо, – по-видимому, пристально разглядывавшая прохожих и критически оценивавшая их платье; время от времени она вытягивала шею и всматривалась в даль с внезапно нахлынувшим любопытством, дабы

разглядеть хорошенько, что происходит на другом конце улицы; когда же случалось, что какая-нибудь праздничношатающаяся собака оказывалась невдалеке и выражала намерение нарушить правила вежливости, – боже мой, как она ерошила шерсть, как плевалась, как фыркала, как выпускала когти! В такие минуты она всем своим обликом, явно говорившим о клокочущем и рвущемся наружу негодовании, поразительным образом походила на уродливую старую деву, обнаружившую, что к ней приближается какой-нибудь завзятый распутник.

Хотя почтенной женщине и пришлось познать, что значит нужда, все же она сохранила в себе чувство фамильной гордости – ведь недаром она происходила от ван дер Шпигелей из Амстердама! – и ревниво берегла раскрашенный герб ее рода, который красовался у нее в рамке над камином. И, по правде говоря, она пользовалась глубоким уважением беднейших обитателей города, дом ее был своего рода клубом для всех старух, проживавших поблизости. Они запросто заглядывали сюда зимними вечерами и заставляли хозяйку с вязаньем в руках с одной стороны камина, мурлыкавшую кошку с другой его стороны и распевавший песенки чайник на угольках; здесь они судачили и болтали до позднего часа. Тут же стояло кресло, предназначавшееся для Петера де Гроодта, именуемого иной раз Петером Долговязым, а порою Петером Длинные Ноги. Это был могильщик, а заодно и пономарь маленькой лютеранской церкви, старинный друг-приятель госпожи Хейлигер, а также оракул у ее камелька. Да что Петер де Гроодт! Сам священник – и тот не гнушался заходить к ней время от времени, дабы побеседовать о том, что у нее на душе, и выпить стаканчик ее знаменитого, отличного на вкус черри-бренди²¹. Можете быть спокойны, он никогда не забывал заглянуть к ней и на Новый год, чтобы поздравить и пожелать ей всякой удачи и счастья, и наша почтенная женщина, в иных делах весьма щепетильная и тщеславная, неизменно тешила свое честолюбие и вручала ему такой увесистый сладкий пирог, какого не сыскать в целом городе.

Я упоминал уже, что у госпожи Хейлигер был единственный сын. Он родился, когда молодость ее миновала, но – увы! – не утешил ее на старости, ибо из всех отчаянных сорванцов городка Дольф Хейлигер был самым отчаянным сорвиголовой. Нельзя сказать, чтобы мальчик находился во власти каких-либо мерзких пороков, однако он отличался большим озорством и веселостью и тем духом отваги и предприимчивости, который обычно превозносят в ребенке из богатой семьи, но осыпают проклятиями, когда он вселяется в детей бедняков. Дольф постоянно попадал в какую-нибудь беду; его мать без конца осаждали жалобами на его проказы и выходки, а заодно и счетами за выбитые им стекла; короче говоря, ему не исполнилось еще четырнадцати лет, а между тем все соседи звали его не иначе, как «паршивой собакой», «самой паршивой собакой на улице». Больше того, один пожилой джентльмен в бордовом камзоле, с худым красным лицом и глазами хорька однажды дошел до того, что принялся убеждать госпожу Хейлигер, будто ее сыну рано или поздно придется болтаться на виселице.

Несмотря ни на что, эта милейшая женщина любила своего мальчугана. Казалось, она испытывала к нему тем большую нежность, чем поведение его было хуже, и чем сильнее она обожала его, тем ненавистнее становился он всему свету. Матери – нелепо мягкосердечные существа, и их никак не излечишь от этого недостатка: Дольф был ее единственное дитя; кроме него, ей некого было любить в целом мире, – мы не должны поэтому осуждать ее, если она оставалась глуха к голосам своих добрых друзей, всячески тщившихся уверить ее, что Дольфа все же ожидает веревка.

Собственно говоря, негодник Дольф был тоже привязан к матери. Он отдал бы все на свете, лишь бы не огорчать ее; провинившись, ловя на себе ее пристальный скорбный взгляд, он чувствовал, как сердце его наполняется горечью и раскаянием. Но, будучи созданием легкомысленным, он не находил в себе сил противостоять искушению и удержаться от новых проказ и забав. Хотя он все схватывал на лету – стоило ему заставить себя взяться за книгу, –

²¹ Черри-бренди – напиток наподобие вишневки (англ.).

но его неудержимо влекло к празднующейся компании; вот почему он с великой охотой пускался на поиски птичьих гнезд, в набеги на фруктовые сады и в плавание по Гудзону.

Так понемногу он превратился в высокого неуклюжего парня. Мать стала задумываться, как направить его на путь истины или куда бы пристроить. Задача эта, надо сказать, была не из легких, ибо за ним утвердилась такая дурная слава, что никто, видимо, не испытывал ни малейшей охоты предоставить ему какое-нибудь занятие.

Немало совещаний провела она по этому поводу с Петером де Гроодтом, здешним пономарем и в то же время могильщиком, который, как упоминалось выше, был ее первым советником. Петер был озабочен этим вопросом ничуть не меньше ее, ибо он высказывался крайне нелестно о мальчугане и не думал, чтобы из него вышло что-нибудь путное. Сначала он посоветовал бедной вдове послать своего сына в море, к чему, как известно, прибегают обычно лишь при окончательной безысходности или с отчаяния. Госпожа Хейлигер, однако, не хотела об этом и слышать, она не допускала и мысли о разлуке с Дольфом. Но однажды, когда она, сидя у огонька за вязаньем, думала все о том же, к ней ввалился неожиданно-негаданно пономарь, необычно оживленный и даже веселый. Он возвращался с похорон. Хоронили мальчика в возрасте Дольфа, который жил в учениках у знаменитого немецкого доктора и погиб от чахотки. Болтали, правда, будто несчастного доконали докторские эксперименты, ибо на нем он пробовал якобы действие своей новой микстуры, или, как он называл ее, успокоительного бальзама. Впрочем, было похоже, что все это враки; во всяком случае, Петер де Гроодт не считал нужным об этом рассказывать. Что же до нас, то располагай мы временем пофилософствовать, этот предмет достоин был бы глубокого и всестороннего размышления, ибо почему, в самом деле, докторские помощники всегда худосочны и немощны, тогда как приказчики мясника – веселые, цветущие молодцы?

Петер де Гроодт, как я сообщил уже выше, ввалился в дом госпожи Хейлигер в состоянии необычного для него оживления. Он был во власти блестящей идеи, мелькнувшей у него в голове еще на похоронах; смакуя ее, он тихонько посмеивался, когда сгребал землю в могилу докторского ученика. Он решил, что раз должность покойника освободилась, значит, есть подходящая служба для Дольфа. Мальчик обладает способностями, будет толочь пестиком в ступке и летать по поручениям, как ни один пострел в городе, – а что еще требуется от лекарского помощника?

Предложение хитроумного Петера было для матери «видением славы». Своим внутренним оком она уже, можно сказать, прозревала грядущее Дольфа – она видела трость, подпиравшую подбородок, висячий молоток на двери и буквы Д. М.²² позади его имени; словом, она видела его одним из самых почтенных обитателей города.

Сказано – сделано. Могильщик пользовался у доктора кое-каким влиянием, поскольку им нередко приходилось иметь дело друг с другом, хотя каждый трудился на своем собственном поприще. Уже на следующий день он зашел за Дольфом, облачившимся в свое лучшее воскресное платье, и повел его на показ к доктору Карлу-Людвигу Книпперхаузену.

Они застали доктора в кресле с подлокотниками в углу его кабинета, или, как он любил выражаться, лаборатории, погруженным в изучение огромного тома, напечатанного немецкими литерами. Это был маленький толстенький человек с почти квадратным смуглым лицом, которое казалось еще темнее благодаря ермолке из черного бархата, напяленной на его голову. Он обладал небольшим шишкообразным носом – настоящий туз пик, – который был оседлан очками, блестящими с обеих сторон его хмурой физиономии и напоминавшими пару перехваченных сводом окон.

Представ пред столь ученою личностью, Дольф окончательно оробел; он глазел с ребяческим изумлением на все находившееся в этом святилище знания: ему казалось, что он попал

²² Т.е. доктор медицины.

в чертог мага. Посередине комнаты стоял стол на ножках в виде звериных лап; он увидел на нем ступку с пестиком, пробирки, аптекарские банки и склянки и сверкающие металлические весы. В одном из углов находился массивный платяной шкаф, превращенный в склад всевозможных снадобий и лекарств; около него висели докторская шляпа, плащ и трость с золотым набалдашником; сверху скалил зубы человеческий череп. На камине стояли стеклянные банки, в которых можно было увидеть заспиртованных ящериц, змей и даже человеческий плод. В чуланчике, двери которого были отворены, виднелись заставленные книгами полки (их было там целых три, причем иные тома поражали своими чудовищными размерами) – библиотека, какую Дольф никогда прежде не видел. Так как докторские книги, очевидно, не вполне заполняли чуланчик, рассудительная домоправительница заняла свободное место горшками с соленьями и вареньем и развесила, кроме того, по стенам, рядом с грозным врачебным инструментарием, связки красного перца и исполинских огурцов, предусмотрительно оставленных на семена.

Петер де Гроодт и его протеже были приняты доктором – глубокомысленным, исполненным собственного достоинства маленьким человечком, который никогда не позволял себе улыбнуться, – с видом важным и величавым. Он оглядел Дольфа с головы до пят и с пят до головы; он воззрился на него поверх очков, из-под очков и сквозь очки; сердце мальчугана екнуло и замерло, когда на него уставились эти огромные стекла, похожие на две полных луны. Доктор благосклонно выслушал все сказанное Петером де Гроодтом в похвалу юного кандидата и затем, послунив палец, принялся задумчиво перелистывать лежавший перед ним большой черный том. Наконец, после многочисленных «эхм!» и «гм!», поглаживания своего подбородка, раздумья и размышления, полагающихся по штату глубокомысленному человеку при решении вопроса, решенного, в сущности, сразу, он заявил о своем согласии принять к себе Дольфа в качестве ученика; он обещал обеспечить его постелью, столом и платьем и обучать врачебной науке, взамен чего тот обязывался служить ему до двадцати одного года.

И вот герой наш внезапно преобразился: из непоседливого пострела, без присмотра носившегося по улицам, он превратился в докторского ученика, старательно орудующего пестиком в ступке под руководством самого Карла-Людвига Книпперхаузена. Для обожающей его старой матери это было поистине счастливое превращение. Она бесконечно радовалась, что сын ее получит образование, как и следовало юноше из хорошего рода; предвкушала тот день, когда он окажется в состоянии держать свою голову столь же гордо и независимо, как адвокат, живущий в большом доме напротив, или даже как сам господин пастор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.